

С НУЛЕВОГО РАНГА



СЕРГЕЙ РЕАЛОВ

| АРОН РОДОВИЧ

Том 9

**Арон Родович
Сергей Реалов**

**Регрессор. Заново с
нулевого ранга! Том 9**

<https://litres.ru/74609383>

SelfPub; 2026

Аннотация

Меня предали и бросили умирать в S-разломе. И очень зря!
Ведь я вернулся на двенадцать лет назад!

Теперь мне снова двадцать два. Ранг Е, денег кот наплакал, магии почти ноль. Зато за плечами двенадцать лет рейдов, боевой опыт ветерана и знание секретов, за которые сильнейшие гильдии готовы убивать.

Пока новички боятся первого разлома, я валю босса заточенной трубой. Пока гильдейские шишки делят добычу, я забираю своё. А самоуверенных инструкторов, решивших поставить меня на место, ждёт большой сюрприз!

Правда, прошлое уже начало меняться, а мои знания будущего перестают быть надёжными.

Ну и отлично! Кто сказал, что я собирался играть по старым правилам?

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	23
Глава 3	41
Глава 4	55
Глава 5	72
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Сергей Реалов, Арон Родович Регрессор. Заново с нулевого ранга! Том 9

Глава 1

Девятнадцать двадцать. Виктор ушёл под стражей пять минут назад, хлеб с луком ещё дымился на подоконнике, а S-контур над крышами висел — огромный, спокойный, ждущий. И ждать он не собирался долго.

У окна в коридоре Транспортного управления пришлось запрокинуть голову: по нижней кромке контура шла первая прожилка. Как трещина по льду — ещё стоишь, ещё решаешь, выдержит ли, а она уже ползёт к твоим ногам. Двенадцать лет рейдов научили меня одному: когда трещина поползла, у тебя есть время дойти до дома и предупредить своих. Иногда — только дойти.

— Тагир, — позвал, оставаясь у окна: прожилка ползла дальше. — Связь. Мне нужны четверо, и мне нужны они сегодня ночью.

— Четверо — это не список. — Тагир снял крышку с тер-

минала и подвинул его к себе. — Это четыре разных разговора.

— Поэтому и четверо. Не звено — опоры. Если Ланской снимет одну, три должны стоять.

Сева стоял рядом с тетрадью. Рука над страницей дрожала; он переводил взгляд с неба на строчку и обратно, боялся упустить. Впервые видел небо, которое собирается воевать. Пришлось коснуться края тетради — записывать надо сейчас, потом будет некогда.

— Пиши, Сева, — кивнул на пустую строку. — «День сорок третий, девятнадцать двадцать. Внешний контур раскрыт. Прожилка нижней кромки — одна. Дышим». Всё. Дальше будешь писать в другом месте — дома, у мамы, под стопором. Ты не полевой состав. Ты свидетель, и твоя тетрадь теперь оружие стратегическое, а стратегическое хранится в защищённой комнате.

— Я понял. — Сева прижал тетрадь к подоконнику, чтобы дописать. — Целое под защитой.

— Учись быстро. Это главное умение следующей недели. К двадцати ноль-ноль я был дома. Мама открыла раньше, чем я постучал, — она всегда открывала раньше стука, когда дело пахло небом. Сима за стопором подняла голову от чашки и посмотрела на меня тем взглядом, который заменял ей вопросы: живой? целый? какой счёт?

— Живой. Целый. Счёт — один ноль в нашу пользу, и второй тайм уже над городом, — сказал я. Аде, стоявшей ря-

дом, показал счёт пальцами и повернулся к ней лицом, чтобы она прочитала ответ. — Сима, девять свидетелей — по домам, конвой довёл, Катя сверила. Нина с тобой. Узел под Адиной описью, не трогать. Сегодня в квартире будет штаб, и мне нужна твоя кухня.

— Штаб без кухни — это окно очереди. — Сима отставила чашку, освобождая стол. — Кухню получишь. Сколько ртов?

— Десять. Может, двенадцать.

— Тогда двенадцать. — Сима уже считала места за столом. Сорок лет кормила семью по норме войны и знала: готовить надо на больше, чем придёт, потому что придёт больше, чем ждёшь. Я хотел возразить насчёт двух лишних, но она вытянула из-под описи доску для хлеба. Значит, двенадцать.

Катя разложила на столе описи. Ада села рядом и провела ладонью по листам, расправляя сгибы. Строки теперь лежали перед ней открыто; так ей удобнее было сверять приборы с описью. Между описями оставалось место для счётчиков. Сдвинул чашку к краю и начал собирать ночь, как оружие: по частям, с проверкой каждой.

— Значит, так, — придержал опись левым предплечьем, чтобы всем был виден верхний лист. — Контур внешний. Он держится на узлах — на точках, где Складка опирается о город. Уберёшь опору — контур просядет. Уберёшь все — упадёт на кварталы. Значит, наша работа не рвать его, а держать: каждый узел — своим звеном, каждый — незави-

симым, чтобы глушение одного не сняло остальных. Четыре опоры. Смола — северный узел. Стёпа — южный. Артур Ким — наш гарант со времени дела «Авроры» — восточный. И армейское звено — западное, я разговаривал со связистом полчаса назад, у них своя линия, свой командир, своя ответственность; они не подо мной, они рядом, и это правильно.

— А ты? — Катя оставила палец у центра схемы.

— А я — центральное окно. То, ради чего Ланской на самом деле открыл контур. Но сначала опоры. До окна ещё надо дожить.

Открыл опись приборов, сверяя строки с вещами на столе. Всё заработано, всё передано по цепочке; лишнего глушителя бумага нам не даст.

— Секторальный глушитель конвоя. Один. Целым снятый в тридцать третий день, возвращённый Жене в сороковой, получен обратно сегодня, передача оформлена по терминалу — Женя расписался, я расписался, Катя сверила номер. Один. Не два, не полтора — один, и он пойдёт на южный узел, Стёпе, потому что южный узел самый узкий и там глушение даст максимум. Контрмаркер — изготовлен сорокового дня, проверен, — на восточный, Киму, у него и люди, и запись, и привычка всё фиксировать. Северный и западный — без глушителей, на руках, на механике и на армейской связи. Механические счётчики времени — всем четверым, по одному, чтобы каждый узел тикал не по их системе.

— А пика? — спросила Ада. Она спросила это жестом —

короткий укол ладонью, — но я научился слышать её жесты как голос.

— Пики — мои, обе, и третьей у нас нет. — Я показал на плечевой ремень, где сидела длинная, потом на левое бедро, где сидела короткая. — Эхо работает через то, что есть. Короткая Тита — ближний контакт, длинная Тихона — дальняя проверка шва. Если узел встанет в упор — бью короткой в точку контакта и смотрю, как эхо идёт по трещине. Если надо проверить, жив ли несущий шов на расстоянии, — длинная, через грунт, через кладку. Никакой третьей пики, никаких фокусов. Две пики, две руки — одна рабочая, и та ушиблена. Нормальный расклад для человека, который собирается дожить до утра.

Ада кивнула и записала в свою опись. Закончив строку, подняла глаза, дождалась, пока я посмотрю на неё, и коснулась записи о короткой пике. Подтвердил кивком. Она вела приборный журнал лучше меня: сверяла каждый предмет, а не только красивые суммы внизу страницы.

Смола пришёл в двадцать один тридцать — раньше, чем я его ждал. Он вообще всё делал раньше, чем ждали: высокий, сухой, с руками, которые я помнил по нынешнему периметру: он уже вытаскивал людей из-под обломков и умел подпирать там, где другой начал бы размахивать ломом.

— Видел небо. — Он остановился у стола, ещё в куртке. — Шёл к тебе, не дожидаясь вызова. Что держать?

— Северный узел. Транспортная развязка старой ветки,

эстакада. Узел сидит под правой опорой, я перемерял по памяти каналов — там давление пойдёт волнами, и волны будут расти. Твоё дело — не пропустить пик.

— Чем мерить? — Смола протянул ладонь над столом.

— Механикой и спиной. — Я выложил перед ним счётчик. — Женя даёт замеры каждые тридцать минут со своей точки, ты сверяешь со своим тиканьем. Расхождение больше чем на четверть — значит, твою точку глушат, и ты уходишь на запасную позицию, которую выберешь сам, сейчас, до темноты полной. Не жди меня. Не спрашивай. Уходишь и держишь.

Смола повертел счётчик в руках, нашёл заводную головку. Потом посмотрел на мою левую ладонь, которую я слишком быстро убрал со стола.

— Ты лево бережёшь. — Смола кивнул на ладонь; спорить с тем, что он только что видел, было глупо.

— Лево в порядке. — Я поднял левую руку, повернул, показал. — Правая — петля. Работаю левой, бью корпусом. Это не тайна, Смола, это арифметика, и враг её тоже знает, а значит, я знаю, что он знает, и это единственное моё преимущество перед ним сегодня.

— С утра ты был наглее. — Он убрал счётчик в карман куртки, но от стола пока не отошёл.

— С утра у меня на руке была манжета, и я знал, что с ней делать. Сегодня у меня девять свидетелей, стопор на квартире и семьдесят семь рублей. Я стал богаче и осторожнее.

Иди. Эстакада. Север.

Стёпа пришёл следом — молодой, быстрый, из тех, кого Аудит не успел сломать только потому что тот родился с внутренним стопором получше любого прибора. Он взял глушитель, выслушал про южный узел — узкую трубу пешеходного перехода под путями, — кивнул трижды и задал единственный вопрос:

— Если переход просядет, а под ним люди?

— Тогда глушитель — в сторону, и люди — наверх. Все. — Коснулся корпуса у Стёпы в руках. — Прибор дешевле человека, Стёпа. Запомни это раньше, чем научишься всему остальному, — тогда, может, выучишься и всему остальному.

Армейское звено на связь вышло в двадцать два ноль-ноль. Старший — капитан с голосом человека, привыкшего, что его слушают с первого слова, — сказал коротко: «Западную опору держим своими средствами. Ваши замеры принимаем каждые тридцать минут. Координация — через вашу Катерину. В ваш контур не входим». Я ответил: «Принято. Мой контур — центральное окно, и в него не входите тоже». Пауза была в полсекунды, потом он сказал: «Разумно» — и это было лучшее, что армейский капитан мог сказать за всю нашу первую совместную операцию.

Киму я звонил сам. Артур выслушал, сказал «гарантии людям подтверждаю, буду на восточной опоре с контрмаркером и с записью, как обычно» — и добавил то, за что я

его и держал в списке: «Дима. Внешняя запись на восточном узле будет непрерывной и отдельной от всего, что вы делаете в центре. Что бы Ланской ни показал вам в вашем окне — у меня будет зафиксировано, что было на самом деле на опорах. Не благодарите, это моя работа».

К полуночи четыре опоры стояли.

А потом Ланской сделал первый ход.

Женя позвонил в ноль двенадцать — голос ровный, но я слышал под ним натянутую струну: «Дима. Юго-восточный переход, кварталы старой застройки. Давление растёт не по волнам — ступенями. Узел там не стоит в моей схеме. Он вообще не должен там стоять. Переход проседает — медленно, но проседает, и под ним, по моим прикидкам, от сорока человек. Ночь, дома, спят».

— Схема врёт или Ланской её переставил? — Отставил чашку и прижал трубку левым плечом.

— Схема моя. Схема не врёт. Значит, переставил.

Вот оно. Не через час, не завтра — сейчас, пока опоры только встали, пока люди спят, пока у меня правая рука — петля, а левая — ушиблена. Он переставил несущую точку под жилой переход и ждал, что я приду по карте — к узлу, к опоре, к красивой геометрии контура, — а не под просевший бетон с людьми.

Проверил короткую пику в держателе, сунул счётчик в карман, и мы поехали — я, Тагир, Аким. Василиса осталась на квартире с Катей сводить часы и с Адиным журналом.

Тагир вёл машину, Аким держал аптечку, я смотрел на прожилку над крышами и считал: до перехода семь минут, ступени давления по Жене — каждые двадцать минут, просадка уже вторая, значит, третья придёт, когда мы будем внутри.

Переход встретил нас звуком. Не гулом — скрипом, тонким, длинным, как будто бетон учился говорить и пока умел только одно слово, и слово это было «ушли бы вы». Под переходом, в низине, — два дома, окно в окно, и в окнах уже зажигался свет: люди слышали скрип даже сквозь сон.

— Аким — на дальний торец, считаешь выходящих! — я уже бежал. — Тагир — к домовому, буди по квартирам, снизу вверх, не время вежливости! Кричать «просадка», слово простое, поймут!

Первый подъезд открыл мне сонный мужик в трениках, с вилкой в руке — ужин, прерванный скрипом.

— Куда? — Он придержал дверь плечом, всё ещё с вилкой в кулаке. — Ночью? За дверь не выходил двадцать лет, а тут...

— Смотри. — Повёл его к пролёту перехода и указал на стену. Он оглянулся на свою вилку, переложил её в другую руку и приложил ладонь к бетону. Свою, не мою — мою жалко, левая одна. Стена дрожала. Мелко, нутряно, как дрожит лошадь перед тем как рухнуть. Мужик побледнел, вилка звякнула о пол.

— Вилку бросил — уже умница, — сказал я. — Теперь — наверх, по подъезду, стучишь в каждую дверь и говоришь

одно слово: просадка. Затем сам пойдёшь к сбору за старой котельной. Считать не умеешь — не надо, считает Аким.

Он пошёл. Быстро, для человека, который двадцать лет не выходил за дверь. На второй площадке уже колотил в соседнюю дверь и кричал «просадка» — громче меня.

Второй подъезд был хуже: там была бабка на третьем этаже, которая не ходила. Совсем. Тагир вынес бы её на спине, но Тагир будил четвёртый. Я поднялся сам — левой держась за перила, правая петля болталась бесполезным грузом, рёбра ныли на каждой ступеньке, и я дышал по-воробыиному и считал не ступени — минуты до третьей ступени давления.

Бабка лежала одетая. Даже платок был завязан; из-под кровати торчал собранный узел. Сколько раз её за жизнь будили ночью, я спрашивать не стал.

— Просадка? — спросила она, прежде чем я открыл рот.

— Вторая уже. Третья через десять минут.

— Неси, — сказала она и подняла руки. — Только не как мешок. Как человека.

— Секунду, — опустил рядом с кроватью. — Один я вас уроню. А этого мы с вами не договаривались.

Позвал Тагира с площадки. Мужик с вилкой уже будил соседей вместо него. Тагир сбросил с плеча ременную стропу, попросил бабку обнять его за шею и посадил себе на спину. Я левой расправил ремень под её бёдрами, пропустил конец через пряжку; правая оставалась у груди, в ортезе.

— Как человека, — напомнила она, прижимая подборо-

док к Тагирову плечу.

— Значит, командуйте, — Тагир осторожно поднялся. — Только не за ухо. Оно не рулевое.

Бабка хмыкнула. На лестнице шёл впереди, короткой пи-кой проверяя ступени: один край уже отошёл от стены. Под-держать её вес я не мог, зато показал Тагиру целую полови-ну пролёта. На последнем пролёте скрип стал ниже и глуше. Звук шёл из-под ступеней; я прибавил шаг, стараясь не ме-шать Тагиру с бабкой за спиной. У выхода убрал пику в дер-жатель и придержал дверную створку левой.

Третья ступень шла.

— Аким! — крикнул я с крыльца. — Сколько вышло?!

— Сорок один! Домовой говорит — ещё двое, верхний этаж, там парень с собакой, собака не идёт!

— Собака потом! Парня — вниз!

Парень спустился сам, неся собаку под мышкой, как ме-шок картошки, и собака не вырывалась — она смотрела на переход, и уши у неё были прижаты, и я запомнил: собаки знают раньше счётчиков. Надо будет сказать Жене.

Третья ступень пришла, когда последний человек пере-сёк линию старой котельной. Переход просел на глазах — не рухнул, именно просел, втянулся, выдохнул бетонным лёг-ким, — и по правой его опоре пошла та самая прожилка, ко-пия небесной, только маленькая и подземная. Точка. Узел. Переставленный, чужой, вживлённый в городскую кладку, как вживляют ложную подпись под чужой датой.

Подошёл к опоре. Скрип стоял в зубах. Достал короткую пику — Титову, рабочую, честную — и приложил её к точке контакта, осторожно заводя острое в трещину. Упор. Только упор — острое в трещину, древко в левую ладонь, корпус в древко. И слушал. Двенадцать лет памяти каналов не списываются за мысль — они работают как опыт, и опыт говорил: узел живой, наплавленный, держится не на кладке — на давлении. Снизил давление — он сам выйдет из шва, как выходит гвоздь из разгруженной скобы.

— Тагир! — Обернулся к нему, оставляя острое в трещине. — У нас десять минут работы и сорок человек за котельной. Подводим под пролёт домовые блоки, что под рукой, всё, что найдём в низине. Блоки примут вес пролёта, а контактную скобу освободим от нагрузки. Тогда чужой узел можно вынуть, не обрушив переход. Не бой, а плотницкая работа.

Мы работали десять минут. Тагир таскал блоки, как таскают всегда — спиной и злостью. Аким подгонял тех из спасённых, кто мог работать; они передавали блоки из рук в руки, соскребали землю под опорой. Только что бежали из-под бетона, а теперь сами под него возвращались — и потому на каждый скрип оборачивались ко мне.

— Этот сюда? — Тагир задержал блок у края первой клетки.

— Поперёк нижнего. Стой, сперва подкладку.

Аким подсунул деревяшку, Тагир опустил блок. Направ-

лял левой и голосом, короткую пику на время убрал в держатель: тянуть тяжести было кому и без меня.

Бабку к тому времени вынесли к котельной; она сидела на своём узле с тряпьем и сказала фразу, которую Сева потом записал в тетрадь со слов Акима: «В моё время небо падало тихо. Это хоть честное — шумит».

За десять минут до четвёртой ступени пролёт лёг на две сложенные клетки из блоков. Тагир заклинил последнюю деревянной подкладкой, Аким убрал людей из-под края. Длинная пика оставалась у меня в ремне: её древко под тоннами бетона сломалось бы. Вновь достав короткую пику, через свободный ход скобы подцепил наружный фиксатор. Упирался левым предплечьем в древко, поворачивал корпусом; правую прижимал ортезом к груди. Скоба высвободилась. Узел качнулся в шве — и вышел. Выпал, как зуб из разбитой десны, звякнул о бетон и умер — прожилка на опоре погасла, скрип в низине кончился, и в наступившей тишине я наконец расслышал голоса у котельной. Там перекликались, кого-то звали по имени. Все за краем просадки; теперь можно выдохнуть.

Женя на линии подтвердил через две минуты: «Давление в низине — ноль. Ступени прекратились. Дима, что ты сделал?»

— Ничего. — Сел на бетонный блок, ослабил плечевой ремень и наконец вдохнул глубже, чем по-воробыному. Рёбра тут же напомнили, зачем я берег дыхание. — Переставил

мебель. Ланской вживил узел под переход — я его вышиб опорой из кладки. Люди все. Сорок три, если считать собаку. Собаку считаем.

Дома было без десяти два ночи. Катя ждала с часами — механическими, своими, тикающими не по их системе. Ада спала за журналом, положив ладонь на описи, — и я не будил её: пусть читает утром, что ночь вышла по описи. Смола только что доложил: северная опора держит, расхождение с Жениными замерами — секунды. Стёпа: южная труба тихая, глушитель на предохранителе, людей у перехода развели по родне. Ким: восток под записью, его люди целы, контрмаркер тикает. Армеец: «Запад держим. Ваши сорок три — записали».

Пил чай, сваренный Симой ещё ночью и оставленный на плите. Чашка грела ушибленную ладонь. Обе пики поставил в угол, подальше от стола: на древках ещё оставалась бетонная пыль. Ланской переставил узел под жилой квартал, чтобы я пошёл по карте. Я пошёл по людям. Сорок два человека вышли ещё до того, как мы подперли переход; теперь Аким мог перечислить каждого. Карта всё ещё врала. А его узел — выпал.

Четыре опоры стояли, но срок удержания пока никто не обещал. Женя собирался проверить их под полной нагрузкой. До той проверки Катя считала только фактическое время: без десяти два, день сорок четвёртый, одна вынутая метка и живые люди за котельной.

Сева утром прочтёт в тетради строку, которую я попросил записать Акима: «Ночь 43/44. Четыре опоры стоят. Один узел вынут из-под людей. Сорок три живых, включая собаку. Дышим».

Ада проснулась от того, что я поставил чашку, — она чувствовала вибрацию стола, как чувствовала вибрацию зала. Посмотрела на меня, потом на небо в окне, где S-контур висел всё так же — огромный, спокойный, ждущий, — и сделала жест: сложила руки домиком и накрыла сверху.

— Да. — Повернулся к Аде лицом, чтобы она видела губы. — Целое под защитой. Пока — да. Но ночь ещё не кончилась. Он может поменять несущий шов, и мы должны успеть раньше следующей просадки. Пусть меняет. Мы уже знаем, что он переставляет узлы под спящих людей, — а значит, знаем, где его искать: там, где спят люди.

Я допил чай. Рёбра ныли. Левая ныла. Правая висела петлёй. Над городом висел контур, и под ним стояли четыре опоры — Смола, Стёпа, Ким, армейское звено, — четыре независимых тиканья, не по их системе.

До следующего Жениного замера оставалось ждать. Часы тикали возле чашки; я слушал, не вмешается ли снова телефон.

Без десяти два я ещё сидел над чашкой, когда город заговорил громкоговорителями.

Не тревога. Хуже. Тревога — это когда честно кричат «беги». А по усилителям на кольцо шло ровное, сонное, почти

материнское: «Внимание. В связи с временным изменением несущих конструкций организован безопасный маршрут эвакуации. Жителям кварталов старой застройки предписывается пройти по маршруту: улица Гранитная — пешеходный переход под путями — сбор у грузового двора. Маршрут обеспечен. Повторяю: маршрут обеспечен».

— Катя, — отодвинул чашку, освобождая место перед собой. — Карта.

Она уже раскладывала. Провёл левым пальцем по маршруту, придерживая карту предплечьем. До нужной точки ещё не дошёл, а уже понял, куда нас гонят. Гранитная — это юг. Пешеходный переход под путями — это южная труба. Труба, которую держал Стёпа с глушителем на предохранителе. А грузовой двор — грузовой двор лежал в низине за старой сортировкой, в низине по соседству с той, где около часа назад просел юго-восточный переход. Одинаковые впадины за путями; только из одной мы уже вынули узел, а во второй я ещё не был.

— Он ведёт караван по карте. — Остановил палец у грузового двора. — Прямо по моей карте. Я поставил опору на южной трубе — он гонит людей через южную трубу и дальше, в низину, где у него есть второй вживлённый узел, который мы ещё не вынули. Белый флаг над готовой ловушкой. И всё по инструкции, всё «маршрут обеспечен», все довольны, все идут.

— Сколько человек? — Катя развернула к себе край кар-

ты с жилыми кварталами.

— Ночь, — сказал Тагир с порога, натягивая куртку. — Кварталы старой застройки — это четыре тысячи. По усилителям пойдут сотни. Кто стар, кто с детьми, кто просто верит слову «обеспечен».

— Вот на этом он и строит. — Поднялся, бережно выпрямляя левый бок. — На слове. Ланской всегда строит на том, что людям дешевле поверить, чем проверить. Собираемся: Аким — за рулём. Тагир — связь, Стёпе и Смоле в первую очередь. Василиса — остаёшься, нет: со мной, у тебя ноги быстрее моих, а бежать сегодня придётся. Катя — часы. Ада!

Забрал обе пики из угла: длинную левой вернул в плечевой ремень, короткую — в держатель на бедре. Только после этого вышел к Аде.

Ада уже стояла в коридоре с журналом под мышкой. Она не слышала громкоговорителей — но она видела нас, а нас было достаточно: мы, поспешно одевающиеся в два часа ночи, читаются как страница.

Я повернулся к ней лицом, отчётливо: «Ка-ра-ван. Юг. Ло-вуш-ка». Она кивнула, ткнула пальцем в короткую пикку на моём бедре, потом в длинную в ремне — обе? — и я показал два пальца: обе.

— Женя! — Тагир протянул трубку.

— Слушаю, — Женя был быстр и мрачен. — Я уже видел маршрут. Дима, я перемеряю низину у грузового двора

каждые тридцать минут по общему графику, последние два замера — давление ноль, ровно ноль. Слышишь? Ровно. По моей схеме там не может быть ровно. Ровно — это значит, узел есть, но он спит и держит показания на нуле, как утка держит дыхание под водой. Он там. Он ждёт, пока в низину набьётся мясо.

— Сколько до первых людей в низине? — Отступил с трубкой к наружной двери, чтобы Женю не заглушил стук посуды.

— Усилители крутят третий круг. Старая застройка собирается медленно, но первые пойдут по привычке за двадцать минут. Основная масса — за сорок.

— Значит, у меня двадцать минут, чтобы встретить первых, и сорок, чтобы сломать весь ход. Женя, меряй низину каждые пять минут и ори мне по ступеням. Стёпу не трогай — он на трубе, глушитель пусть стоит на предохранителе, труба нужна целой.

Машина летела по пустому кольцу, и я считал не фонари — решения. Их было три, и все три были плохие, пока я не начал их переворачивать.

Первое: перекрыть маршрут. Чем? У меня нет мандата, нет сирены, нет права остановить караван, идущий по официальному объявлению. Каждый, кого я начну разворачивать силой, решит, что я опаснее неба.

Второе: опередить караван, вынуть узел в низине до прихода людей. Этой ночью мы с Тагиром и Акимом вынимали

такой — плотницкой работой, блоками, подпорами. Часа не было. И тот узел был нагружен переходом; этот, по Жениному «ровному нулю», сидел в низине свободно — а свободный узел, который не держит ничего, кроме ловушки, вынимаешь не подпором. Его надо найти. Он замаскирован под ноль.

Глава 2

Третье: найти того, кто держит ноль.

Утка под водой не держит дыхание сама. Её держит охотник. Значит, в низине или рядом — живой оператор, техник Ланского, тот, кто стравливает показания и будет стравливать их до сигнала, а потом — разожмёт. Я знал эту породу. Я сам был этой породой двенадцать лет: человек с прибором, который лежит в темноте и ждёт, когда по его цифре пройдут люди.

— Тагир, — прижал трубку к уху, чтобы расслышать за мотором, — Ким на востоке?

— На связи. — Тагир развернул к себе экран.

— Передай: пусть посмотрит на свой контрмаркер. Если узел в низине спит под нулём, он глушит эхо не только у себя — он создаёт общую тень на всей южной дуге. У Кима на восточном узле эта тень должна быть видна как заваленная линия. Пусть пришлёт рисунок завала. По рисунку я найду точку, откуда дышит оператор.

Ким ответил через четыре минуты — Тагир читал с экрана: «Тень есть. Юго-запад от низины, за сортировкой, старая весовая будка. Рисунок завала сходится в точку, координаты передаю. Дима — это не моя опора, я с поста не уйду, запись держу».

— И не уходи, — сказал я. — Твоя запись сегодня —

единственное, что через час назовёт происходящее его настоящим именем.

Первых людей мы встретили на Гранитной — за семь минут до низины. Шли правильно, как учили: женщины, старики, узлы с документами и кошками, парень катил бабку на садовой тележке, и тележка скрипела в такт общему страху, который люди уже успели переименовать для себя в порядок. Впереди колонны шагивал человек в светоотражающем жилете с фонарём — не чиновник, просто сосед, взявший на себя быть первым.

Выйдя из машины навстречу фонарю, поднял левую ладонь. Парень с тележкой упёрся каблуками в асфальт; колёса прокатились ещё пол-оборота и замерли.

— Стоять колонне! — сказал я громко, спокойно, тем голосом, который двенадцать лет останавливал паники в разломах. — Я Пырьев, транспортный канал, сегодня вы меня по радио слышали или соседи расскажут. Маршрут меняется. Не паника — изменение. Сбор не у грузового двора — у школы номер шесть, она на горке, она выше. Развязка и школьный двор — вот новый вектор.

— По-о-чему? — протянул кто-то из середины. — Объявили — обеспечен.

Женщина с кошкой остановилась между мной и фонарём, прижимая узел к груди.

— Объявили, — согласился я. — А я проверил. Я проверяю всё, что объявляют, — это моя профессия. Грузовая ни-

зина сейчас держится на нуле, а ноль в живой земле бывает только у мёртвой земли. Живая всегда дышит. Понимаете? Земля, которая не дышит, — это земля, которая задержала дыхание. У Жени стрелка застыла, хотя соседние точки показывают качку. Кто-то удерживает показание. Нам нужен школьный двор выше этого места, и сосед с фонарём покажет обход.

Человек с фонарём посмотрел на меня долго. Он не знал меня. Но он двенадцать лет жил в этом городе и, как всякий горожанин нашего поколения, умел отличать голос паники от голоса работы. Голос паники торопит. Мой — раскладывал.

— Школа на горке, — сказал он наконец и повернулся к колонне. — Повторяю: школа на горке! — и фонарь качнулся в сторону нового маршрута.

Колонна разворачивалась медленно и тяжело, как разворачивается всё живое, — и тут из темноты за колонной, со стороны переулка, вышел второй человек в таком же жилете.

— Не слушайте! — крикнул он звонко, чисто, с той служебной злостью, которая выдаёт обучение. — Маршрут обеспечен и согласован! Грузовый двор — единственная точка сбора с водой, медпомощью и транспортом! Этот человек не имеет полномочий менять маршруты! Следуйте за мной!

И колонна заколебалась. Сорок человек застряли между двумя голосами; женщина с кошкой шагнула было к нему,

парень с тележкой повернул голову и ослабил хватку на ручках. Тележка опять скрипнула. Вот оно, его настоящее оружие: не узел, не просадка — второй жилет. Ланской воевал людьми против людей, и всегда одним и тем же способом: два голоса, один из которых официальный.

Подошёл к нему. Близко. На длину короткой пики, оставив себе место для левого локтя.

— Полномочия, — сказал я негромко, только ему. — Хорошо. Назови своё. Имя, ведомство, номер наряда. Я назову своё — после тебя. Только после. Мне интересно, чьё длиннее.

Он молчал. Я следил за руками: полезет ли за документом, сожмёт ли кулак. Глаза врут — с руками труднее. Правая рука висела вдоль тела, и на её тыльной стороне, у большого пальца, тускло светилась метка — та самая порода меток, которую я двенадцать лет снимал с техников каналов: рабочая, локальная, привязанная к точке. Оператор. Не агитатор — оператор, вышедший встречать караван, потому что оператор обязан быть при загоне. Он был не рядом с весовой будкой. Он был здесь. Точка дышала через него.

— Василиса, — сказал я, не поворачивая головы. — Жилет.

Она поняла мгновенно: достала дорожный жилет из машины Акима и надела мне на плечи. Теперь в колонне стояли два официальных жилета, и разница между ними решалась не жилетом.

— Смотрите все, — сказал я в колонну, поднимая левую руку. — У этого человека на руке — рабочая метка канального техника. Я знаю эту метку, я носил такую же двенадцать лет. Техник не встречает беженцев. Техник сидит у прибора. Если техник стоит перед вами и зовёт вас в низину — значит, его прибор стоит в низине. Вопросов больше нет? Школа. На горке.

Оператор понял, что я увидел, — и сделал то, что делает загнанная порода: дёрнулся бежать, не от меня — к низине, к будке, стравить показания и разжать ловушку раньше срока, пока я не дошёл. Он рванул через переулок.

Бежать с моими рёбрами — значит прийти вторым. Остался на месте, выхватил короткую пику — левая, бедро, один чистый ход, — и бросил. Не в него. В забор перед ним, в доску на уровне его лица, чтобы щепа встала стеной.

Он отшатнулся, потерял два шага, и этих двух шагов хватило Василисе — она срезала угол через огороды и влетела ему в колено плечом, как влетают в борьбе, не в драке: ниже центра тяжести, по правилам, которые не зависят от рангов. Он упал. Под ним хрустнул край кожуха его же прибора на ремне — коробки стравливания, маленькой, злой. Ровный ноль на окошке продолжал гореть.

Дошёл не спеша. После броска под рёбрами жгло; каждый шаг приходилось подгонять под короткий выдох. Вытащил пику из доски левой, вложил её в держатель, а потом присел над ним — рёбра взвыли, я дал им провыть про себя —

и перевернул его приборную коробку так, чтобы видел весь переулок и вся колонна.

— Смотрите ещё раз, — сказал я. — Прибор. На ремне. Он держал ноль в низине вот этой коробкой. Вот она, ноль горит. Василиса, сними ремень, только аккуратно, не выключай. Если её выключить без порядка — узел в низине разожмётся сразу, по одиночному сбою, и тогда всё, что он успел бы сделать по сигналу, он сделает по ошибке.

Оператор лежал на земле и смотрел на меня снизу — и я видел, как из него выходит служка и входит человек. Молодой. Скорее всего, не старше Тагира.

— Ты не понимаешь, — сказал он хрипло. — Ловушка разожмётся в любом случае. Сигнал не нужен — есть таймер. Ты его не вынешь за полчаса. Он заглублён, он не как тот, под переходом, — тот был наплавной, для быстрой перестановки. Этот вбит. Вбит в старую опору сортировки, под фундамент весовой. Ты не успеешь ни блоков, ни домкратов.

— Вбит, — повторил я. — Под фундамент весовой. Спасибо. Ты только что сэкономил мне час поиска.

Он моргнул. Только сейчас до него дошло: он предупредил того, кого учили не предупреждать.

Дальше всё было арифметикой, из той, которую я люблю, — потому что она моя, двенадцатилетняя, не списанная, не оплаченная эхом. Вбитый узел нельзя вынуть. Вбитый узел можно сделать ненужным. Узел держит ловушку давлением: он копит в низине напряжение, как копит воду

поднятый шлюз. Разжать — нельзя, заблокировать — некогда. Но давление — штука двусторонняя. Шлюз, который держит воду, можно перекинуть в другой бассейн, если есть перекидной лоток. А лоток был. Он лежал в пятистах метрах, и он назывался южная труба — пешеходный переход под путями, стоящий на своей честной, нашей, живой опоре, с глушителем Стёпы на предохранителе. Труба дышала. Труба могла принять и стравить волну — именно для стравливания её и держали.

— Тагир! Стёпу на трубку! Пусть снимает глушитель с предохранителя и готовит окно стравливания на юг! Не глушить — раскрыть! По моей команде!

— А если волна пойдёт по трубе, там люди из колонны?!

— Людей там уже не будет. Колонна повернула на школу. Трубу на две минуты очистить, Стёпа это умеет быстрее меня.

К весовой будке шли втроём: я, Аким с фонарём и Василиса, тянувшая оператора за ремни. Он переставлял ноги, спотыкался, снова шёл; оставлять его за спиной было нельзя, а нести было некому.

Будка стояла кривая, бетонная, с провалившейся крышей, и фундамент её был тем самым старым опорным массивом сортировки. Трубку передал Аким: пусть держит связь и светит в шов. Достав длинную пику, приложил её к кладке фундамента — не бить: слушать. Древко в левую ладонь, острие к шву, корпус в древко. Через дерево в ладонь шла

дрожь, и двенадцать лет опыта читали то, что прибор звал нулём: глубоко, ниже фундамента, ровно-ровно гудела натянутая струна. Вбитая. Живая. Ждущая.

— Женья! — крикнул в трубку, которую Аким поднёс к моему лицу. — Готов? Сейчас будет перекидка! Стёпа открывает трубу, я бью в шов фундамента на резонанс — узлу придётся отдать волну в сторону трубы, у него не останется запаса на разжатие! Ори низину!

— Ориентирую! Дима, у тебя максимум две попытки — после второй он поймёт и зажмёт всё в себя!

— Одна, — сказал я. — У меня всегда одна.

— Труба чиста! — гаркнул Стёпа из трубки так, что динамик захрипел. — Окно открыто! Даю тебе южный сквозняк!

Упёрся. Левой — в древко, всем корпусом, всем весом, рёбра стонали, правая петля болталась бесполезным маятником — и ударил не силой, а местом. Не в фундамент — в шов, в ту единственную трещину, которую длинная пика нашла кладкой: Тихонова школа, удар через геометрию, а не через мышцы. Раз. Камень отозвался низко, как отзывается колокол, в который ударили языком, а не кулаком, — и волна пошла.

Под подошвами качнулась земля: струна под фундаментом дрогнула — и рванула. Не вверх, не в низину — вбок, на юг, в трубу, в открытое окно Стёпы, как рванёт пар из котла в единственную открытую форточку. Труба выдохнула — я слышал, как за пятьсот метров она загудела, приняла, про-

вела, рассеяла.

— Давление низины... — Женя сопел над прибором. — Падает. Падает. Ровный ноль сломался — теперь честный ноль! Дима, узел пуст! Он ждал разжатия, а волной его выдуло, он сидит вбитый и пустой, как гильза!

Убрал длинную пику в ремень и забрал у Акима трубку. Низина выдохнула вместе с трубой. Где-то за сортировкой осел и замер старый фундамент — не рухнул, просто перестал быть натянутой струной и стал снова фундаментом, тяжёлым и скучным.

Оператор сидел на земле у будки, связанный собственным ремнём, и смотрел на низину, в которой не произошло ничего. Ничего — это то, что мы сегодня туда принесли вместо катастрофы.

— Ты будешь давать показания, — сказал я ему, садясь рядом на корточки, рёбра разрешали только корточки. — Не мне — комиссии, открытому протоколу, под запись Кима, Тагир отправит ему отдельную съёмку на носитель, пока он держит восток. Ты расскажешь про метку, про таймер, про то, кто дал тебе второй жилет и текст. Про заказчика ты, скорее всего, не знаешь — заказчика не знает никто из нас. Но ты — первое живое звено, которое мы взяли с поличным, с прибором, с нулём на окошке. Прибор будет говорить вместе с тобой.

— Он меня сотрёт. — Оператор опустил голову и подтянул связанные руки к груди. На коробку рядом с ним падала

его тень.

— Для этого ему придётся добраться до тебя и до отдельной записи, — сказал я. — Сегодня комиссия уже проиграла попытку стереть свидетелей по одной строке. Её запрет не связывает весь мир, но у нас есть, что предъявить тем, кто тебя примет. Назови своё имя. Выбирай показание вместо чужого таймера.

В двадцать пять минут третьего Тагир доложил: колонна вся у школы, котёл с чаем уже поставили соседки — город учится быстро. Стёпа закрыл окно трубы, глушитель обратно на предохранитель, счётчик тикает честно. Смола с севера передал без слов, только характеристику: «Видел южный выброс. Красиво. Север спокоен». Армейский капитан добавил своё: «Зафиксировали. Запад держим». Ким на востоке уже подтвердил получение отдельной съёмки показаний оператора и его коробки с горящим нулём, целой, невыдохнутой, вещественной.

Катя позвонила последней и назвала время так, как умела только она: «Двадцать девять минут третьего, день сорок четвёртый. До конца ночи — всё. Спорим, ты не поужинал?»

— Я поужинал, — честно ответил, устраиваясь боком на ступеньке, чтобы разгрузить рёбра. — Я съел белый флаг. С хрустящей корочкой из щепы.

— Это был не флаг, — сказала Катя. — Это был первый заход. Флаг он поднимет, когда поймёт, что караваны у него не получают. Тогда он пойдёт сам. Ложись, Дима. Хотя бы

час.

Остался сидеть на ступеньке весовой будки. Ладонью придерживал трубку у уха, смотрел, как над низиной, над четырьмя тысячами спящих, которых сегодня никто не посчитал спасёнными, потому что они так и не узнали, что их спасали, — медленно светлеет край неба, и S-контур висел над ним всё так же: огромный, спокойный, ждущий.

— Пусть идёт сам, — сказал я контуру, потому что за столько лет привык разговаривать с тем, что ждёт. — Караваны — твой стиль, а не мой. Мой стиль — вот это: пустая низина, целая труба, связанный техник и гильза в фундаменте. Учись. У тебя ещё есть время.

Всё своё время знает.

Двадцать девять минут третьего я ещё сидел на ступеньке весовой будки, когда Женя позвонил сам — а Женя не звонил сам без причины с самого начала этой ночи.

— Дима. Вставай. Он меняет несущий шов.

— Где? — Подался вперёд, уже собираясь встать.

— Везде. — Женя дышал в трубку так, будто поднимался по лестнице. — Я перемеряю четыре опоры каждые тридцать минут, последний цикл — и северный, и южный узлы показывают одно и то же: нагрузка с них уходит. Не падает — уходит. Перетекает. Вся тяга контура, что стояла на четырёх точках, ползёт к центру. Он бросает опоры и собирает шов на одном несущем стержне — через старую водонапорную башню, через её фундамент, через коллектор под площадью.

Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю, — сказал я, и рёбра заныли заранее. — Это значит, он больше не играет в караваны. Он закрыл окно с четырёх сторон и открыл одно — центральное. И позвал меня туда. Не через громкоговоритель. Через геометрию.

— Через геометрию надёжнее, — сказал Женя. — Но есть ещё кое-что. По коллектору под площадью идут люди. Ночные сменщики с сортировки, они режут коллектор насквозь, это их обычный путь, лет двадцать как обычный. Человек шестьдесят. И Ланской сузил коллектор — не обрушил, сузил: боковые штольни подсосало, выход на площадь переклинило. Они сидят в трубе, которая становится несущим элементом его шва. Он вплёл живых людей в свою несущую конструкцию. Тебе знакомый приём, да?

Знакомый. Этой ночью — второй раз за час.

— Сколько у них воздуха и времени?

— По моим прикидкам — до полной нагрузки по новому шву. Первые волны ещё можно переждать в трубе. Когда он переведёт всю тягу на башню, переждать будет негде. Полчаса, может сорок минут.

— Тогда я иду в коллектор. Не к окну — к окну через людей. Как всегда.

Василиса усадила связанного техника на заднее сиденье рядом с собой, коробку стравливания положила ему под ноги. Аким развернул машину к дому. По дороге Тагир собирал десятку — кого звонком, кого коротким сообщением.

Дома я говорил три минуты; две из них собирался прямо за разговором, пока остальные проверяли ремни и фонари.

— Слушайте все, один раз. Ланской открыл центральное окно — у старой водонапорной башни, за площадью. Туда весь контур теперь стекается, как вода в воронку. Он хочет, чтобы я побежал к воронке напрямую, по площади, по его коридору. Я не побегу. Я пойду коллектором, потому что в коллекторе шестьдесят человек, вплетённых в его шов, и пока они там — окно не откроется на полную: живая нагрузка мешает его геометрии. Люди — это не долг, который я оплачиваю по дороге. Люди — это сам ход.

— Десятка? — Тагир придержал свободный конец ремня, чтобы я попал им в пряжку.

— Десятка. — Протянул ремень через пряжку левой и глянул на Катин механический счётчик. Остальные собрались вокруг стола; показывал каждому его место той же левой, правая оставалась в петле. — Тагир — связь, сидишь на входном стволе, сводишь меня, Женю и все четыре опоры.

— Опоры с постов не уходят: Смола, Стёпа, Ким, армейцы — вы держите то, что держите, и если Ланской попытается отдёргнуть тягу обратно на опоры, чтобы вынудить меня из коллектора, — держите до последнего и орите в эфир.

— Аким — на дальнем коллекторном колодце с машиной и тросами. Василиса и Стас — средний колодец, аварийный спуск. Тони и Рита — со мной в трубе, Тони со страховочными концами, Рита со счётом людей. Лёва — страхуешь спуск,

потом идёшь замыкающим. Береги бедра: бегать за сменщиками сегодня будут Тони с Ритой.

— Тит — твой инструмент, зажимы и механический счётчик. Глушитель остаётся у Стёпы, контрмаркер — у Кима: ни одной опоры не разукomплектовываем. Ты закрепляешь наш провод от входного ствола к рабочему колену, проверяешь контакт. Тагир получает наружные замеры по отдельной линии, а тебе передаёт через провод. Внутри радио может лечь.

— А воздуховоды? — Стас Лузин поднял глаза от затянутого ремня. — Людей ведь ещё и воздухом удержать надо.

— А воздуховоды открывает Стёпа. Руками. Сервисные затворы южной трубы выходят в средний колодец, Стёпа их знает лучше проектировщика. Но он откроет их тогда, когда я скажу, — не раньше, потому что открытый затвор в разреженной трубе — это сквозняк, который выдует людей из штольни, как пшено. По команде.

Ада уже стояла с журналом. Я повернулся к ней лицом, отчётливо: «Кол-лек-тор. Шесть-де-сят че-ло-век. Я и-ду внутрь». Она сложила пальцы, потом показала на себя: с тобой?

— Со мной, — сказал я. — Ты читаешь трубу лучше всех нас. В трубе темно и гулко, связь хромает, а ты видишь лица при свете фонаря и читаешь удары по металлу. Условные сигналы — как в зале: один удар — стоп, два — вперёд, три — назад. Ты идёшь третьей за мной и передаёшь вперёд и

назад стуком по трубе — труба донесёт твой стук дальше моего голоса.

Ада кивнула и застегнула журнал. Затем коснулась моей руки и показала на фонарь Риты: лицо надо освещать. Я кивнул в ответ. В гулкой трубе голосу я доверял меньше, чем её ладони на металле; нужный удар она передаст, даже если наши слова утонут в скрипе.

Катя осталась со сводкой часов — внешний якорь, отдельно, как всегда.

— Тридцать пять минут третьего, — сказала она. — Твоё окно — воронка у башни. Моё окно — вот эти часы. Вернись до того, как я начну волноваться.

— Ты начнёшь волноваться через шесть минут после моего выхода.

— Через четыре. Иди.

Коллектор встретил нас запахом старого бетона и звуком — тем самым, тонким, длинным скрипом, который я уже слышал ночью над переходом. Только здесь скрип был ниже и злее: труба не просилась уйти. Трубу заклинило, и она держала.

— Тони! — Свет фонаря по своду. — Конец за скобу, скоба за мной! Рита — считай по меткам, каждая ветка — вслух!

Первая группа сменщиков сидела в двухстах метрах от входа — сидели правильно, кучно, у стенки, потому что старые шахтёры и сортировщики умеют ждать в трубе. У стар-

шего была керосинка и свисток.

— Ты Пырьев. — Старший поднял керосинку, осветив мне лицо. — По радио говорили, потом не говорили, потом опять говорили. Что с выходом?

— Выход заклинили. Откроем. Но сначала — все сюда, к дальней стенке, за мной, потому что средняя штольня, через которую вы обычно ходите, сейчас подсосана, и когда я начну работать, она начнёт дышать. Твоя работа, отец: счёт твоих людей, по тройкам, свисток — сигнал общего движения. Свисток один раз — все за мной. Дважды — все сидят смирно, что бы ни происходило.

— А что будет происходить? — Он прижал свисток к груди, чтобы тот не звякал о керосинку.

— Я буду разговаривать с трубой. Она будет спорить.

Старший оглянулся на своих и махнул им свистком: поднимайтесь. Керосинку держал выше, пока люди вставали у стены.

Они двинулись за мной — двадцать человек, тихо, по шахтёрски экономно, только керосинка покачивалась. Рита считала вполголоса: три, шесть, девять... Ада шла за мной, ведя ладонью по трубе. На одном участке остановилась и потянула меня за ремень; Рита отвела свет на свод. Там крошился шов. Ада уже нащупала дрожь и указала обход вдоль другой стенки.

Женя в наушнике — Тагир передавал его голос в проложенный Титом провод, — давал ступени: «Волна одна про-

шла. Волна две — на подходе. Дима, перегородка на третьей ветке — не кирпич, это его наплавная закладка, я вижу её в рисунке. За ней — остальные люди и выход к площади».

Третья ветка была перегороджена — не завалена, а именно перегороджена: бетонная плита, вставленная в трубу, как затычка в горлышко. Из-за неё доносился стук — десятки кулаков по металлу, звук, который Ада поймала раньше меня, дёрнула меня за ремень и показала два пальца вперёд-влево.

— Тони, конец! — Я приложил ладонь к плите. Живая. И за ней — люди. — Слушайте все, за плитой! Пырьев, транспортный! Работаем!

Плиту не сдвинуть — ни левой, ни корпусом, ни шестьюдесятью сменщиками: она сидела в трубе с натягом, на заклине, и заclin держала волна давления — как втулка держит зазор, только наоборот. Дёрнешь — волна бахнет в обе стороны: в людей за плитой и в людей перед плитой. Знакомая задача. Ночью я решал её блоками и подпорами. Домкрата не было. Блоков не было. Была труба, две пики, память двенадцати лет и Стёпа у затворов.

— Тагир! Стёпе: южный затвор, приоткрыть на треть! Не на сквозняк — на подсос! Пусть труба с юга потянет — еле-еле, как через соломинку!

Приложил к плите короткую пику — Титову, честную, — упор, острие в верхний заclin, и слушал. Память каналов — не списание, опыт: наплавная закладка всегда сидит на одной точке, на замке, а остальное у неё — театр. Замок был сверху,

слева, где труба шире на ладонь. И туда, в замок, я должен был дать не силу — волну. Встречную. Изнутри, оттуда, где стучали кулаки.

Прижал губы к щели у кромки и крикнул людям за плитой:

— От плиты к стене! Сядьте! Когда все отойдёте — три удара по трубе. Повторяю: три удара значит все отошли!

Повернулся к Аде. Рита подсветила мне лицо, пока я удерживал пику в заклине.

— Ждём три. Затем я начинаю.

Ада положила ладонь на трубу. По ту сторону кричали друг другу, уводили людей от кромки. Потом пришли три отчётливых удара. Ада показала три пальца; я дождался, пока Рита уберёт и наших за поворот.

— Женя! Ступень на подходе?

— На подходе. Двадцать секунд. Дима, что ты задумал?

— Перехват волны. — Устроил левое предплечье вдоль древка, проверяя упор. — Волна придёт снаружи, по шву, через плиту — а я встречу её изнутри, в противофазе. Короткая пика в замок, удар через кладку — на выдохе его же волны. Две волны в одной трубе с двух сторон — заклин плиты держится на разнице давлений. Давления сравниваются — заклин сам отпустит. Она не упадёт. Она выдохнется.

— Ты это уже делал?

Глава 3

— Двенадцать лет я делал обратное. Теперь посмотрим, работает ли физика в обе стороны.

Волна пришла — ногами, сводом, зубами. И в ту же секунду я ударил: левой в древко, корпусом в левую, всем весом в замок — не силой, местом, Титова школа, геометрия вместо мышц. Плита отозвалась не треском — стоном, низким, и древко встряхнуло левую ладонь, будто выбивая пальцы из хвата: две волны встретились в теле бетона и съели друг друга. Плита качнулась. На ладонь. На две.

— Тони! Лом в щель, верх! Стас, спустись со среднего колодца — на второй! Рита — людей от плиты держать! Ещё раз, Стёпа — прикрыть затвор, подсос кончился!

Второй удар я дал в такт второй ступени — Женя отсчитывал: «десять, пять, сейчас» — и на «сейчас» труба выдохнула, плита села на пол штольни, встав боком, послушная, как снятая с петель дверь. Из-за неё хлынул свет чужих фонарей и воздух — сорок человек, оставшаяся часть смены, целые, охрипшие, с командой собственного старшего, который вместо приветствия сказал:

— Труба сужалась. Мы подпирали.

— Подпирали? — Отвёл пику от осевшей плиты, давая ему пройти. — Чем?

— Чем было. — Старший обернулся на своих, протиски-

вавшихся мимо плиты. — Домкраты у нас, гидравлика, сме-
на же.

Домкраты. У них были домкраты. Я засмеялся — рёбра не разрешили, но я всё равно засмеялся коротко, по-воробыи-
ному. Ночь учила меня одному и тому же: не беги к воронке,
пока не посчитал, что в руках у людей вокруг.

Дальше коллектор шёл к площади — прямой ствол, и в
конце его светилось: не фонарями — окном. Центральное
окно. Брешь в контуре над фундаментом башни, видимая
снизу, изнутри земли, как видно небо из колодца: узкий, дро-
жащий, вертикальный свет, и в нём — тень. Метка Ланского.
Главная. Не рабочая, не локальная — несущая, та, что дер-
жала весь новый шов, и снять её мог только тот, кто дошёл
последним, сам, потому что подступы к окну держали створ-
ки — боевая свита, четверо в тёмном, с пиками, стоявшие
попарно у двух последних колен ствола.

Вот и коридор, о котором говорил Женя. Сужающийся.
Со створками.

Василиса оставалась у среднего колодца со связанным
техником и его коробкой. Стас уже спустился ко мне на вто-
рой удар; теперь ему предстояло держать подступы. Разло-
жил людей — быстро, шёпотом, повернувшись к своим и по-
казывая левой повороты ствола:

— Аким — тросы в средний колодец, поднимай сменщи-
ков наверх, всех, по двое, домкраты — с собой, наверху они
будут стоить дороже. Тони, Стас — ближнее колено, держи-

те вход в ствол: кто бы ни вышел из окна мимо меня — не выпускать и не впускать. Рита — счёт, Лёва — замыкающий. Ада — со мной, на дистанции голоса, то есть лица. Тагир — эфир. Всё, десятка, дальше подступы держите вы. К окну иду один.

— Не один. — Ада коснулась моего левого плеча, дождалась, пока повернусь. Говорила громко, чуть плоско, как говорят глухие, но голосом, живым, своим. — Я за спиной. Ты идёшь один, я — твой второй стук.

— Идём. — Кивнул ей и уступил полшага к трубе, чтобы могла положить ладонь на металл. Спорить с Адой в трубе — всё равно что спорить с трубой.

Створки двинулись на нас в первом колене — двое, слитно, пики короткие, работа знакомая: не убить — сузить, зажать, отрезать отход. Тони и Стас приняли их в узле, где размах не нужен, а нужен камень за спиной, — и я услышал за собой только начало: звон, крик Стаса «держу!», короткий выдох «порядок» от Тони. Сзади снова звякнуло железо, но шаг вперёд я сохранил. Подступы держали они. Это и была десятка: каждый держал своё, и поэтому я мог не держать всё.

Второе колено было моим. Двое вышли из стены — из сервисной ниши, умно, с тыла, — и я не стал красивым. Красивым бывают свежие. Бросил короткую пику левой — не в них, в скобу над нишей. Скоба вылетела, короткая упала следом, и пыль с трухой посыпалась им в лицо и в глаза; шаг,

корпусом — правая петля болталась, зато левое плечо давит всей массой живого Пырьева, — первый ушёл в стену и сел.

Второго я встретил длинной — Тихоновой, из ремня, левой через корпус, не замах, а перекладина на уровне его горла: он сам на неё налетел, будь он свежий, он бы нырнул, но он был третьи сутки на посту, и тело его нырнуло на полсекунды позже нужного. Древко взяло его под ключицу, он выронил пику; я подбил её ногой в ливневую решётку и прижал противника перекладиной к стене:

— Сидеть. Ты не за него, ты за плату. Плату он не отдаст — я видел его караваны. Сиди и дыши, будешь свидетелем.

За моим плечом Ада подняла из крошки короткую пику, которую я бросил в скобу. Дождалась, пока я обернусь, и показала держатель. Я убрал длинную на миг в упор к стене, принял короткую левой и вернул её к бедру; затем снова взял длинную. Пика противника провалилась сквозь решётку в ствол, в гул, — Ада услышала её ладонью и стукнула дважды: путь вперёд чист.

Окно стояло передо мной — вертикальный свет на тёмном бетоне, и в свете — метка. Большая. Спокойная. Свет выхватывал её края так ясно, что хотелось соскоблить их с бетона, как подпись с чужого приказа. Приложил длинную пику к шву под окном — упор, слушание, — и по дрожи древка узнал то, что Женя потом назвал бы «стержнем»: вся тяга контура, все четыре внешние опоры, с которых он снимал нагрузку, вся ночь — стояли на этой метке. Не на баш-

не. На метке. Сорвёшь её — шов сложится, окно закроется, город выдохнет. Но не сейчас.

Потому что метка держалась не только на шве. Она держалась на времени — на переключении, которое Ланской ещё не довернул, — и Женя в наушнике, срываясь, подтвердил:

— Дима, не бей сейчас! Переключение через сорок минут! Метка сейчас в полуприходе — сорвёшь в полуприходе, и шов рухнет на кварталы, на школу, на твоих шестьдесят сменщиков, которых Аким ещё поднимает! Окно должно дойти до полного раскрытия — и тогда её можно снять чисто. Сорок минут. Ты дошёл. Теперь жди его хода — и держи.

Я стоял под окном, длинная пика в шве, метка над головой — огромная, спокойная, ждущая, как и весь контур, — и понял, что всю ночь я шёл сюда не для того, чтобы успеть. А для того, чтобы успеть вовремя. Раньше — значит на головы школы. Позже — значит никогда.

— Тагир, — сказал я тихо. — Всем: подступы держать сорок минут. Кате передай: волноваться начнёт не через четыре, а через сорок. Ада — стук по трубе: три-три-три. Все живы. Я на месте.

Ада ударила трижды, трижды, трижды — и труба унесла стук вниз, к колодцам, к машине, к часам, к городу. Метка над головой дрогнула — впервые за ночь — как дрогнул бы человек, услышавший из колодца, что за ним пришли и никуда не денутся.

— Сорок минут, — сказал я ей. — Всё своё время знает.

За окном, над площадью, над башней, медленно нарастал свет — Ланской доворачивал переключение, и оно шло ко мне, как поезд по рельсам, который я сам пустил, разрушив его караван, опустошив его вбитый узел и дойдя туда, куда он меня звал, — своим путём, через его геометрию, но не по его правилам.

Тагир в наушнике читал минуту за минутой. Ада держала ладонь на трубе. Десятка держала подступы. Я держал шов.

Всё остальное — через сорок минут.

Семнадцать минут четвёртого. Стоял под окном с длинной пикой в шве, и метка над головой висела — огромная, спокойная, ждущая. А потом Женя сказал в наушнике то, чего я ждал и боялся:

— Дима. Переключение пошло не по графику. Он его ускорил. Не сорок минут — у тебя двенадцать.

— Что меняется? — Подвинул левую ладонь по древку, удерживая острое в шве.

— Всё. Метка выходит на полный приход раньше, но окно переключения — то мгновение, когда её можно снять чисто, — стало короче. Было бы восемь минут по графику. Теперь — минута, может меньше. И оно будет двигаться. Он будет двигать его сам, по своей фазе. Он понял, что ты стоишь на месте, и теперь играет фазой.

— А если снять не в окно? — Над головой ползла тень метки; смотрел на неё, пока Женя отвечал.

— Шов рухнет. На кварталы. Полностью.

— Принял. — Повернулся к Аде, чтобы видела губы. —

Ада — сколько на приборе?

Ада подняла механический счётчик, посветила фонарём, показала: три семнадцать. И пальцами: двенадцать минут. Оставаясь лицом к ней, отчётливо произнёс, чтобы прочитала губы: «Две-над-цать. Дер-жи стук».

Она ударила по трубе трижды — вниз, к колодцам: время пошло.

— Тагир, — сказал я тихо. — Опоры. Все четыре. Сейчас он начнёт.

Он начал сразу после моего вызова в эфире. Ещё миг назад в наушнике шуршала связь, теперь из-под подошв пошёл низкий гул. Услышал? Значит, будет ответ.

Первой дрогнула южная труба. Стёпа доложил через двадцать секунд — голос у него был молодой и оттого звенел: «Дима! Тяга пошла обратно на меня! Он отдёргивает с башни на опоры — труба грузнеет, счётчик ушёл с секунд на постоянку! Глушитель прикрывает аппаратуру, но давление растёт!»

— Держи! — сказал я. — Он не опоры рвёт — он меня выманивает. Ему нужно, чтобы я побежал от окна к трубе. Стой. Считай. Ори, если пройдёшь три четверти предела.

Смола сказал север одним словом, как говорил всегда: «Вижу. Стою». Армейский капитан на западе добавил: «Фиксируем переток. Держим. Не суйся к нам, работай у

себя». Ким на востоке: «Запись идёт, контрмаркер тикает, отклонений нет — восток он не трогает, Дима. Он бьёт по двум, не по четырём. Ему не хватает».

Ему не хватало. Ким ещё договаривал, а я уже прикидывал, где сходятся эти две тяги. Ланской двенадцать лет строил на том, что у противника не хватает рук. У него метка, окно, фаза — и ни одной лишней стрелы. Он бил по двум опорам из четырёх, чтобы растянуть меня. Значит, всё его давление сейчас шло через два канала, и оба канала я знал — по памяти, двенадцатилетней, не списанной, а прожитой: южная труба и северная эстакада сходились под площадью в одном старом коллекторном колене, в том самом, где я стоял. Его тяга и моя точка стояли в одной геометрии.

— Женя. Смотри на переток. Когда он дёрнет тягу на юг — окно переключения сдвинется куда?

Женя секунды три молчал — считал. Потом сказал медленно, как диктуют под диктовку: «Вверх. К башне. Окно выскочит выше твоей головы, к первому поясу кладки. Когда дёрнет на север — вниз, к фундаменту. Он будет качать его, Дима. Как маятник. Ты не успеешь бегать между точками — он знает твои рёбра».

— Он знает мои рёбра, — согласился я. — А он знает, что я двенадцать лет слушаю кладку? Нет. Потому что это не в папке. Это во мне. Ада!

Она была за спиной, ладонь на трубе. Повернулся к ней; Ада подняла фонарь, осветив мне лицо:

— Бу-дешь чи-тать ка-чание. — Говорил медленно, отчётливо, давая ей дочитать каждое слово. — Тру-ба слы-шит тя-гу рань-ше ме-ня. Юг — один удар. Север — два. Я не бегаю за окном. Я узнаю направление раньше окна.

Ада опустила фонарь, кивнула и прижала ладонь к трубе всей плоскостью — так, как читала зал, стол, мир. Глухая девочка у стены, которая слышала тяги контура кожей раньше, чем приборы успевали отрисовать.

Три двадцать три. За спиной — один удар по трубе, отчётливый; через миг Женя: «Качнул на юг!» Труба знала первой. Окно метнулось вверх, к поясу кладки, и метка над головой потемнела, набирая полный приход.

Вдавил подошву в пол, удержав место. Упёрся длинной — туда, где стоял, в шов под фундаментной развилкой, и ударил. Не сильно — в противофазе, как ночью в плиту: его же тягу, идущую по южному каналу, я встретил встречным импульсом в колено, которое эта тяга обязана была пройти. Геометрия вместо мышц. И тяга споткнулась. Женя выдохнул: «Переток задержался! Окно... стоит! Не успел уйти вверх!»

— Счёт, Ада!

Ада повернула ко мне освещённый циферблат, затем показала растопыренную пятерню и ещё один палец: шесть минут до полного прихода.

Ему хватило одного круга. За это его и звали умным: повторять не стал. Южный канал я ему испортил, и он бросил

юг целиком — Стёпа выдохнул в эфир: «Тяга упала! Труба дышит!», — и перекинул всё на север, на эстакаду, на Смола. Смола сказал: «Давление. Стою». И Ада ударила по трубе дважды.

Окно рвануло вниз, к фундаменту, — и вот тут начался тот бой, ради которого я дошёл сюда коллектором, а не площадью.

Потому что внизу его ждали. Не метка — створки. Двое из четырёх, оставшиеся от подступов, поднялись из нижнего колена — выскользнувшие из первого колена, не те, что я положил у ниши, — и пошли на меня снизу, когда окно ушло вниз, к ним, в их геометрию. Умно: он не дрался со мной. Он передвигал поле боя туда, где у него были руки.

Внизу, в колене, размах длинной — смерть древка. Сделал то, чему меня не учила ни одна папка. Длинную оставил в неподвижном шве. Освободил левую и выхватил короткую из держателя у бедра, одним ходом воткнул в шов стены на уровне их лиц — как скобу. Шов раскрылся, пыль и крошка стеной, первый отвернул, второй нырнул.

Оставив короткую в щели, перехватил длинную левой. Вывел древко из упора и опустил ему на ключицу — Тихонова перекладина, знакомая обоим нам школа. Он сел. Первый выпрямился — и получил не пику: корпус. Правое плечо у меня петля, но масса живого Пырьева весит столько же, сколько весила, — я вошёл в него корпусом, как входят дверью, и он ушёл в стену и сполз по ней.

— Сидеть. — Уперев длинную поперёк прохода, переводил дыхание по-воробыному и смотрел на обоих. — Вы за плату. Он сейчас всё бросает — юг бросил, север грузит, вас он тоже бросит, потому что ему не хватает. Не верите — спросите у Стёпы, он вам по дороге расскажет, как выглядит брошенный юг.

Второй — тот, что по ключице — посмотрел на меня снизу и сказал хрипло: «Окно внизу. Ты не достанешь». И был прав: окно уходило вниз, за уровень пола, в фундаментную развилку, куда не спускались с пиками — там сечением трубы не размахнёшься.

Длинную уложил в сервисную нишу, чтобы не потерять. Выдернул короткую из верхнего шва, куда ставил её скобой перед атакой. Повернул короткую вдоль тела: замах здесь уткнулся бы в свод. Сделал то, что делал двенадцать лет в тесных каналах, то, за чем меня и держали в транспортных, пока держали. Короткую пику — короткую, Титову, — вставил в шов. Остриём в шов над фундаментным окном, древко вертикально, левая ладонь на торце, и корпус — на ладонь. Упор. Рычаг не в мышцах — рычаг в упоре, и вся моя масса шла по оси короткой пики в одну точку шва. Тесная геометрия — моя геометрия. Внизу, где не размахнёшься, — работают упором.

— Женья! — крикнул я, потому что шов под остриём уже гудел. — Фаза! Где окно сейчас — по миганию!

«Держится внизу! Он запер его в фундаменте, он думает,

там ты не достанешь... Дима, погоди — он качнул... он качнул по ритму, он сменил ритм, он...»

Ритм. Он сменил ритм качания — не юг-север, а коротко-коротко-долго, в расчёте на то, что Ада собьётся, что труба не донесёт, что я начну гоняться. Ада не сбилась. За спиной прозвучало: удар-удар... пауза... удар. Коротко-коротко-долго. Она стучала мне его ритм, как ритм вальса, — не переводя, не думая, просто кожей.

Выждал длинную долю, почувствовал, как к её концу стихает дрожь в древке. Вот оно — опыт, который не списывается: ритм — это дыхание. Тот, кто качает окно в ритме, дышит в ритме. И у каждого ритма есть слабая доля — та, где вдох кончился, а выдох не начался. Коротко-коротко-долго — выдох длинный, и в конце длинного выдоха у любого живого контура — доля мёртвая. Полсекунды. Одноразовая.

Повернул голову к Аде, оставляя пику в упоре; дождался, пока встретит мой взгляд.

— Ада! Длин-ный удар — на длин-ном — стук два раза! Же-ня — «сей-час» на длин-ном!

Женя: «Три двадцать девять. Полный приход! Понял! Считаю фазу! Пять... четыре...» Ада била ритм, труба гудела, внизу под остриём короткой пики шов наливался, окно стояло в фундаменте, метка стояла в полном приходе, и счёт рос — не в воздухе, в руках: Женя считал фазу, Ада держала ритм, Смола держал север, Стёпа переводил дыхание юга, Ким писал восток, армейцы держали запад, десятка держала

подступы, связанный техник наверху дышал рядом с прибором, который больше не держал ноль. Город стоял на людях. А я стоял на их счёте.

«Три... два...»

И на длинной доле — Ада ударила дважды, Женя сказал «сейчас», и я вошёл корпусом в торец короткой пики — всем весом, рёбра вскрикнули и были посланы, — и остриё прошло шов насквозь, в самую середину фундаментного окна, в точку, которую я не видел, но знал, потому что двенадцать лет бил в такие точки и помнил, как они лежат в кладке.

Доля мёртвая. Его выдох кончился. Мой удар пришёл в пустую долю его ритма — и метка не успела.

Она не слетела — она треснула. Как трескается лёд от удара в пустоту под ним: тихо, всей плоскостью сразу. Свет окна мигнул, длинная доля оборвалась, ритм сбился — и я не дал ему вдохнуть. Выдернул короткую из шва, переставил на ладонь ниже, в трещину, которая уже была, — и ударил снова. Не в ритм — против. В его вдох. Второй удар пришёлся в долю, где его контур набирал, и набранное рассыпалось о трещину, как рассыпается волна о сваю.

— Давление! — кричал Женя, срываясь. — Падает по всей дуге! Север освобождается! Тяга идёт... тяга не идёт никуда! Шов не держится на метке — шов держится сам! Дима, метка пошла на сход!

Метка сходила. Надо мной, в окне, в вертикальном свете, она оплывала с краёв — не как гаснут, как подпись, кото-

рую размывает вода с угла. Ланской — или то, что говорило его именем через чужую геометрию — делал последнее, что умел: он отдал север полностью, бросил всё в окно, в держание, в то, чтобы метка не сошла, потому что сошедшая метка — это не его поражение, это его конец в этом контуре.

Смола на севере сказал: «Свободно. Стою». Одно слово — и я понял: север выдержал и отпустил сам.

И тогда я сделал то, за чем шёл всю ночь. Не Женя, не полковник, не комиссия, не благодарность. Я.

Я упёрся в шов в третий раз — короткая в трещину, корпус в торец, левая в древко, правая петля у груди — и сказал метке, вслух, потому что за столько лет имею право разговаривать с тем, что ждёт:

— Всё своё время знает. А теперь — моё.

Глава 4

И сорвал её. Рывком вниз по трещине, всем корпусом, через упор, через рёбра, через двенадцать лет, которые не спались ни на один удар, — метка отошла от окна, как отходит присоска от стекла, с тонким звуком и короткой дрожью: Ада почувствовала её через трубу, я — ладонью через древно. Свет окна схлопнулся — не в темноту, в ровность: контур над городом, огромный, всё тот же, перестал сходиться к башне и встал... внешним. Замкнутым. Спокойным. Удержанным.

Тишина была такая, что я слышал, как тикает механический счётчик в Адиных руках.

Дальше — люди. Ада присела рядом и подвела счётчик под свет моего фонаря. Тикало. За спиной Тони окликнул Стаса, тот отозвался; ещё дальше Аким считал поднятых сменщиков. Теперь можно было слушать их, а не метку.

Тит прижал к моей левой манжете контакт полевого рангового измерителя — аппарат привёз армейский связист к колодцу после сообщения о сходе метки. Сначала сняли остаток нагрузки, затем повторили замер на спокойном контакте: устойчивый А. Два независимых канала — Женин и армейский — подтвердили одну границу, без «условно» и без ожидания нового удара. Тагир передал полевую карточку регистрации Кате. Отвести взгляд от буквы не получалось;

в зубах всё ещё отдавался последний треск метки. В моей первой жизни такой карточки не было.

Женя вышел на связь через минуту, и голос у него дрожал — по-инженерному, от переизбытка измеренного: «Дима. Фиксирую для протокола и для всех: внешняя дуга замкнута. Опоры — четыре из четырёх, расхождение ноль. Перетоков нет. Эхо-картина стабильна. Снимаю полевую фиксацию полного А-действия: центральное окно, метка сорвана оператором лично, в узком фазовом окне, при удержании всех внешних опор. Датчики мои, независимые. Это не благодарность, это замер».

— Пиши замер, — я сполз спиной по стене и сел прямо на пол коллектора. Рёбра отпустили на один вдох. Сидеть я уже заслужил. — Товарищ с башни, слышите? Замер. Механика. Не папка.

Связанный техник наверху — тот, во втором жилете — молчал. Ада смотрела на меня поверх счётчика, и я повернулся к ней лицом, чтобы она прочитала то, что не говорил никто: «Вы-ше пер-вой жиз-ни». Она поняла. Сложила руки домиком, накрыла сверху — целое под защитой — и добавила новый жест, которого я не знал: подняла домик выше головы. Целое — выше. Засмеялся — и тут же зажал левым локтем бок. Ада нахмурилась, потом улыбнулась сама. Так и сидели: она с домиком над головой, я с боком под локтем.

Перед подъёмом забрал длинную пику из сервисной ниши и вернул в ремень. Ада придержала древко, пока я левой

затягивал крепление. Наверху, у башни, нашли остальное. Тони и Стас, державшие подступы, поднялись следом и позвали меня — я шёл медленно, пика короткая в руке, длинная в ремне, две, различные, свои. В нише у фундамента башни, там, где метка стояла на подпитке, лежал ключ. Не в переносном смысле — ключ: оплавленный стержень в гнезде, контактом к точке, где сидела метка. Ключ сердца контура — командный носитель, то, чем метку ставили и чем её можно было бы переставить. Он выпал из гнезда, когда метку сорвало. Лежал и ждал, кто дойдёт.

— Тагир, — я остриём короткой указал на нишу, удерживая остальных в шаге от неё. — Опись. Ключ — командный трофей, снят по факту срыва метки, при свидетелях: Тони, Стас, Ада, твоя запись. Проверку его — перед входом к сердцу, сегодня он просто трофей и просто лежит в отдельной упаковке для Катиного чехла. И передай Кате: её четыре минуты волнения кончились. Я иду вверх. Медленно. По лестнице. По-человечески.

Катя позвонила сама — раньше Тагира, потому что Катя всегда раньше: «Три сорок восемь. День сорок четвёртый. Замер Т-ноль назначаю на четыре ноль-ноль, с этого момента считаем тридцать шесть внешних часов удержания. Дима. Женя мне уже переслал фиксацию. Это полный А. Полевой. Не по их строке — по своим датчикам. Ты понял, что это значит?»

— Понял, — сказал я, выходя из колодца в предрассвет-

ное небо, где контур висел — замкнутый, внешний, наш. — Это значит, что в первый раз за две жизни я не прошу. Первый раз — зафиксировано.

— Второй раз, — сказала Катя. — Первым был запрет. Но этот — выше. Выше первой жизни, Дима. Так и запишем.

Сева утром прочтёт в тетради строку, которую я продиктовал Тагиру сам, пока поднимался: «Три пятьдесят, день сорок четвёртый. Метка сорвана. Контур внешне удержан. Опоры — четыре из четырёх, никто не брошен. Ключ сердца перехвачен, проверка перед входом. Полный А — по полю, по датчикам, по факту. Дышим».

Ада шла рядом, неся счётчик, как носят знамя. Десятка собиралась у машин — Тони с разбитой бровью, Стас, докладывающий «четверо бойцов в плену, целы», Рита со своим счётом, Лёва, Тит со своими зажимами, Аким, Василиса. Смола передал с севера одно слово: «Слышали». Стёпа — юг — добавил своё: «Ура, но по уставу». Армейский капитан сказал: «Полный А подтверждаем по западным датчикам. Поздравляю. Не привыкайте, Пырьев». Ким — восток — прислал формально то, что нужно было формально: «Наружная запись центрального окна и опор сохранена на изолированном носителе. Это теперь история, Дима. Настоящая, не из папки».

Я стоял у машины, держал левой свой механический счётчик — тикающий, не по их системе, — и чувствовал не восторг. Тяжёлую, тёплую, настоящую мощь, как чувству-

ют новую мышцу на второй день после того, как она впервые заработала. Полный А. Выше первой жизни. Заработанный — упором, ритмом, счётом друзей, памятью, которая не списалась, и двумя пиками, которые я знал по имени.

Правая висела петлёй. Рёбра ныли. Ожоги жгли. Всё это осталось со мной — и пусть остаётся: это цена, а не приговор.

А над городом висел контур — внешний, замкнутый, удержанный на тридцать шесть часов, и где-то там, за ним, ждало сердце.

— Идём, — сказал я десятке. — Отдых. Описи. И — к сердцу. Всё своё время знает.

Четыре ноль-ноль. Катя запустила счёт: тридцать шесть внешних часов.

Четыре ноль-ноль. Тагир держал трубку, Катя положила на капот машины свой механический счётчик рядом с Жениным последним протоколом, и я стоял посреди двора у старой котельной, где спасённые из низины расходились по родне, и слушал, как запускается счёт.

— Т-ноль, — Катя нажала пуск и придвинула счётчик к Тагиру. — Тридцать шесть внешних часов. Конец — шестнадцать ноль-ноль дня сорок пятого. Не минутой позже.

— Записано, — Тагир занёс время в журнал, не выпуская трубки. — Женя, твой цикл?

— Перемер всех четырёх опор каждые тридцать минут, — Женя в трубке был ровный: он принял ночное дежурство после короткого сна, которого у нас ещё не было. — Смола

— север, секунды расхождения. Стёпа — юг, глушитель на предохранителе. Ким — восток, контрмаркер тикает, запись идёт. Армейское звено — запад, у них своя аппаратура, я только принимаю их цифры и сверяю со своей. Катя сводит. Если хоть одна опора дрогнет — вы узнаете раньше, чем она дрогнет.

Кивнув, повернулся к своим. Десятка расселась на ящиках и парапете. После трубы даже низкий ящик казался креслом: Тони прижимал к брови лёд из Акимовой сумки, Стас бинтовал Василисе содранное предплечье, Лёва разминал бедро, Рита Гайнутдинова пересчитывала по своей книжке людей, Тит разбирал и чистил зажимы, Аким и Тагир молчали в четыре руки на терминале. Ада вела журнал: приборы, пики, время. Все живые. Все целые — по-настоящему целыми в этой десятке были, пожалуй, только Тагир и Аким, и то относительно.

— Привал, — я прислонил короткую пику к ящику и сел рядом. — Час. Едим, пьём, перевязки. Медпакет тот, что привезли к колодцу армейцы, — он наш по факту помощи западу, расписка у Кати. Потом — опись ключа, потом — вход.

— А раны? — спросил Тони, убирая лёд и глядя на бровь в отражении стекла.

— А раны — бинт, лёд и час, — отодвинул кружку, чтобы Василиса могла дотянуться до медпакета. — Никакой магии, Тони. Полное исцеление бывает в сказках, а в сказках, между

нами, никто не зарабатывает полный А, потому что им не за что платить. Бровь прикроем сейчас. К сердцу она сама собой не заживёт. Будет шрам — расскажешь внукам, что это от окна.

Есть не хотелось, но я ел — двенадцать лет рейдов научили, что «не хочется» означает «нужно». Хлеб, лук, крутые яйца из Симиного узла, чай из термоса. Мама передала с ночным конвоем ещё и банку какого-то своего варёного чуда; Сима записала в передаточной записке: «Витаминное. Не спорить». Мы не спорили.

— Передай дальше, — Тони протянул мне банку, подхватив её снизу, чтобы я мог взять левой. — Твоя Сима страшнее окна.

— Потому и живём.

Банка пошла по рукам. Мне досталась ложка и горячий чай; впервые за ночь хлеб удалось проглотить без спешки.

Потом — ключ.

Он лежал передо мной на расстеленном брезенте, в отдельной упаковке — оплавленный стержень в гнезде, снятый с ниши у фундамента башни при четырёх свидетелях и Тагировой записи. Командный носитель. То, чем ставили метку Ланского. К торцу гнезда лезть хотелось примерно так же, как к взрывателю трофейной мины. Смотрел внимательно, руки держал при себе.

— Тит, — подвинулся на ящике, освобождая ему место у брезента. — Дай руку.

Механическая метка — моя, полевая: Тит поставил её на упаковку ключа ещё у башни, а отметку контакта снял своим счётчиком, — легла мне на левое предплечье. Тит зафиксировал контакт кольцом, я развернул ключ упаковкой к себе и приложил контакт метки к торцу гнезда — не включая, не активируя, только проверяя подлинность. Так проверяют золото по звону, а не по цене, которую тебе за него назвали.

Тит наложил снятый у башни контактный отпечаток на нынешний. Бороздки совпали, запись фазового отклика повторилась на контрольном считывании. Ключ отвечал тому носителю, который мы вынули из-под сорванной метки. Без подмены. Подлинный. Ключ сердца контура, командный, единственный, не копия, не муляж, не приманка. Тит ещё раз провёл пальцем вдоль бороздок и повернул счётчик ко мне. Я сравнил цифры с записью у башни: совпали и они.

— Подлинный, — выдохнул я, давая Титу снять кольцо с предплечья. — Катя, в опись: проверка собственной меткой, контакт, при свидетелях — Тит, Ада, Тагир, Тони. Ключ подлинный. Активации не было.

— А почему не активировать? — Стас наклонился над брезентом, но Тит загородил гнездо ладонью. — Мы же к сердцу идём. Вдруг пригодится?

— Стас, — я отодвинул брезент к Титу. — Если бы ключ был пирожком, ты бы съел чужой пирожок просто потому, что он лежал рядом? Ключ подлинный — это значит, он открывает сердце. Это не значит, что он открывает его нам и

что тот, кто его оставил, не знал, куда мы идём. Пока он остаётся запечатанным у Кати. Передачу на входе оформим отдельно и распечатаем только там, где его подлинность будет нужна, а не здесь, где его подлинность просто приятна. Всё, опечатали. Дальше — хуже.

— Хуже — это что? — спросила Василиса, прижимая свежий бинт.

— Хуже — это Гоша Штерной.

Тит завернул ключ, проверил печать и передал упаковку Кате. Она убрала её в отдельное отделение чехла и застегнула его при нас. Стас отступил от брезента.

— Тут бинтом не отделаешься, — буркнул он.

Он пришёл в четыре пятьдесят — не к двору, на угол за котельной, на нейтральную полосу, как и было договорено через Кима. Живой. Похудевший, небритый, в своём дорогом пальто, которое за последние дни из дорогого стало просто тёплым, — но живой и на своих ногах, и глаза у него были глаза человека, который тоже не спал, но по другой причине: он считал.

За его спиной стоял его человек с ящиком записи. За моей — Тагир со второй записью и вся десятка в десяти шагах, потому что сделка при свидетелях — это не паранойя, это гигиена.

— Пырьев, — Гоша остановился у угла и расстегнул верхнюю пуговицу пальто. — Поздравить или сразу к делу?

— К делу, Гоша. Поздравления у нас — валюта дутая, ты

сам знаешь. Ты знаешь, что у меня есть. Что предлагаешь?

— У тебя ключ, — Гоша покосился на Тагирову записку и заговорил прямо в неё. — Подлинный, я знаю, я видел, как ты его проверял, красиво, по-нищему, меткой, — и не кривись, это комплимент, я сам вырос в этой экономике. И у тебя полный А, полевой, который теперь знает весь город, включая тех, кто делать вид будет, что не знает. А к сердцу тебе нужен путь. Вход к сердцу открывается не там, где окно, и не тогда, когда контур удержан. У него интервал и схема. Интервал я знаю. Схему знаю. Дарю.

— Дарят пирожки, Гоша. Путь не дарят.

Он усмехнулся. И вот тут начался торг — настоящий, рабочий, из тех, за которыми я скучал меньше всего.

— Хорошо. Тогда так: я даю тебе проверенный маршрут и схему входа, плюс двухчасовое входное связное окно — я держу связь с твоей десяткой все два часа, мои возможности, мои люди на промежуточных точках. Взамен — доля.

— Какая? — я переставил ноги, разгружая бок. Торговаться после этой ночи было отдельным удовольствием.

— Он назвал бы половину трофейного. — Гоша сунул руки в карманы пальто, оставив ящик записи своему человеку.

— Он бы и город в придачу назвал. Ты не он, ты считаешь лучше. Повторяю моё: не командование — у тебя его нет и не будет. Не ключ — он лежит в Катинском чехле и оттуда не выйдет. Не внешние оригиналы — они отдельно, и они не предмет торга, они предмет моей биографии.

— Что могу: фиксированная одна двадцатая моей будущей реализованной личной трофейной доли. Не командной — моей. Считаю: что я заработаю в сердце лично, с того тебе двадцатая часть, когда оно будет реализовано. Не сейчас — сейчас у меня семьдесят семь рублей и пустые карманы, и мы оба это знаем. Обязательство, поимённо, при свидетелях, с записью обеих сторон.

Гоша смотрел на меня секунд пять. Я видел, как он считает — не деньги, он считал меня: сдаст или не сдаст, потянет или нет, зачем ему двадцатая, если можно тянуть половину.

— Одна двадцатая, — Гоша вынул руку из кармана и загнул один палец. — С твоей личной. Когда реализовано. А если не вернёшься?

— Тогда ты впишешь в обязательство строку, которую я продиктую сам: если я не вернусь, обязательство погашено; ни Катя, ни команда, ни моя семья не должны тебе ничего. Ты торгуешься с риском, Гоша, бери риск в цену. Мне нечего закладывать, кроме себя, и я уже дважды за эту ночь выкупил себя работой.

Он помолчал ещё. Потом сказал то, чего я не ждал, — и оттого запомнил:

— Знаешь, почему соглашаюсь? Не из-за двадцатой. Из-за того, что ты только что отказался закладывать своих. Такие, как Ланской, закладывают. Такие, как председатель, — стирают. А ты — гасишь. С такими можно иметь дело, потому что с ними можно не иметь дела. По рукам. Одна два-

дцатая. Интервал и схема — твои. Два часа входного окна — с моей стороны, мои связисты.

— Поимённо, — я дождался, пока Тагир развернёт к нам микрофон. — Тагир — запись. Свидетели: Ада, Тони, Стас, Гошин человек. Проговорите существо сделки вслух, оба, полностью. Никаких «как договорились».

Мы проговорили. Гоша продиктовал интервал — вход к сердцу открывался в пять ноль-ноль сегодня, окно узкое, схему он передал Тагиру на носитель отдельным файлом с контрольной суммой, и Тагир сверил сумму вслух. Никакого командования. Никакого ключа. Никаких внешних оригиналов.

А потом Гоша сказал то, ради чего, возможно, приходил лично:

— Пырьев. Последнее, бесплатно, потому что красивое. Редактор разрешил нам путь к сердцу. Понимаешь? Не вам — нам. Всем, кто дойдёт. Это не награда тебе, это пропускной режим, и он означает одно: сердце ждёт. Оно хочет, чтобы ты дошёл. И когда дойдёт до тебя, что тебя туда звали, — вспомни, что я сказал это первым.

— Вспомню, — сказал я. — И добавлю к твоим словам свои, тоже бесплатно. У меня на входе стоит внешний встречный якорь, которого нет ни в твоём интервале, ни в твоей схеме, ни в редакторском режиме. Катя. Снаружи. С независимыми часами, с Жениными тридцатиминутными замерами, с каналом связи ограниченным и с задержкой —

я не телепортируюсь, Гоша, я выхожу на связь по расписанию, — но она там, и её часы тикают не по их системе и не по вашей. Так что когда сердце решит, что позвало меня на своих условиях, — оно обнаружит, что я пришёл на своих. Свидетелей достаточно? Тогда до окна.

Гоша посмотрел на меня долгим взглядом человека, который впервые за очень долгое время встретил партию, в которой нельзя купить ни одну фигуру, — кивнул, развернулся и ушёл со своим человеком и своим пальто в серое предутреннее.

— Он не врёт про интервал? — Василиса проводила его взглядом и поправила край бинта, попавший под рукав.

— Он врёт всегда понемногу, — сказал я. — Поэтому мы не идём по его схеме слепо. Тит — отдельная механическая метка на входе, механический счёт у Риты, Ада ведёт журнал против его контрольной суммы. Схему проверяем первым коленом, как проверяли всё эту ночь: если она ведёт туда, куда говорит, — идём. Если она ведёт туда, куда удобно Ланскому, — я двенадцать лет хожу по каналам, Гошина бумажка не сильнее моей памяти, а память, на минуточку, не списывается.

Перед входом — опись и расклад. Аким проверял трос за нашими спинами, Тит пропускал провод сквозь ладонь, выбирая перекрут. Дождался, пока все повернутся ко мне, и начал.

— Десять. Я — Пырьев. Ада — журнал и второй стук.

Тагир — связь, заходит с нами, провод держит Тит. Аким — замыкающий с тросом. Василиса, Тони — ближний порядок. Стас — с Ритой средний, счёт людей постоянный. Лёва — боевое прикрытие, пика короткая, бедро бережём, бег не твой, Лёва, твой — упор. Тит — зажимы, контакты, механика. Катя... — Повернулся к ней. — Остаётся снаружи.

— Знаю, — Катя положила ладонь на чехол, второй придерживая журнал у счётчика. — Внешний якорь. Часы, замеры, связь по расписанию — каждые двадцать минут сеанс, я слышу вас с задержкой, вы меня с задержкой, и никакой паники, если пауза длиннее: канал там узкий, я разберусь, где канал, а где вы. Стас передал мне четверых пленных бойцов, Василиса — техника из второго жилета с его коробкой. Всех пятерых я уже передала армейскому посту с подписанной передачей — к дежурному Рощина, отдельно от вас, не смешивать. Коробка принята отдельной строкой, запись его показаний — у Кима. Рощин по моим подтверждениям провёл дистанционный контроль при опоре со свидетелями. Экстренный маршрут зафиксирован отдельно. И, Дима, — старый долг не прощён. Ни тебе, ни ему. Это тоже в счёт.

— В счёт, — согласился я. — И ещё. Права на режим тридцать девять — сорок четыре и проверка сорок четвёртого дня назначены сегодня, но это не бесконечный допуск, Катя. Один проход. Что увидим — зафиксируем и выйдем с носителями. Блокиратор, оригинал команды подавления, под-

писанный запрет, лист четыре-сто-семнадцать-двадцать три, контактное кольцо — всё в отдельном защищённом хранении у тебя, всё живое, ничего не жжём. Источники нам ещё нужны: исходный платательщик переноса взрослого В остаётся закрытым номером. Ланской правил готовую запись. Кем был платательщик и откуда пришло требование стирания — два открытых вопроса, и мы не сольём их в один только потому, что идём к сердцу. Домой, к Нине и Симе, за стопор — вечером, с полными руками.

— Виктору передать? — Катя перевернула страницу, оставив палец на записи о долге.

— Скажи ему два слова: «Номер держит». Он поймёт. Он из тех, кто понимает с двух.

Пять ноль-ноль. Входное окно открылось. Я оглядел их в последний раз — не как командир, как человек, который привёл этих людей к двери в сердце контура и собирался первым в неё войти с правой рукой петлёй, рёбрами в оркестре и левой, которая сегодня дважды держала город.

— Правила те же, что всю ночь. Люди дороже приборов. Приборы дороже моей гордости. Моя гордость не дороже никого из вас. Если я упаду — замыкает Аким, ведёт Тагир, якорь — Катя, и вы доносите носители до неё любой ценой, кроме своей жизни. Жизнь дороже носителей, носители дороже мести. Всё. Надевайте.

Тагир подал мне короткую пику — Титову, честную. Длинная уже сидела в ремне. Две пики, различимые, свои.

И тут Ада тронула меня за рукав. Она стояла с журналом под мышкой и смотрела мне в лицо — не на губы, в лицо, что у неё означало самое серьёзное. Потом подняла левую ладонь, показала на небо, где над крышами висел контур — внешний, замкнутый, удержанный, наш ещё на тридцать пять часов, — потом на меня, на десятку, на дверь в подземный ствол за котельной, которая уже начинала подсвечиваться изнутри ровным, дрожащим, вертикальным светом. И сложила руки домиком, накрыла сверху — и подняла выше головы.

Целое — выше. Выше первой жизни.

— Да, — сказал я, повернувшись к ней полностью, чтобы прочитала каждое слово. — Выше. Идём.

В пять ноль-ноль мы вошли в ствол — десять полевых людей, один за другим, работа за работой, шаг за шагом, — и Катя осталась снаружи, с часами, с замерами, с каналом и задержкой, с целым городом за спиной.

Свет навстречу шёл снизу, из глубины, четырёхголосый — я слышал его раньше, чем увидел источник: четыре ноты, сплетённые в одно ровное звучание, живое, дышащее, ждущее. Хор. Не метка, не окно, не геометрия — голоса. Четыре голоса в сердце контура, и они пели так, как поёт то, что привыкло, что к нему приходят и не возвращаются.

Шёл первым, короткая пика в левой; на каждой ступени приходилось сбавлять шаг, пока отпускало рёбра. За спиной Тит фиксировал контакт, Рита считала людей.

— Десять, — донеслось сверху. — Аким, замыкай.

Трос шуршал по камню. Ада держала ладонь на стене ствола, и её стук уходил вниз, к четырём голосам. Своих я слышал ближе. Пока — ближе.

— Всё своё время знает, — сказал я тихо, больше себе, чем им. — Посмотрим, чьё.

Хор внизу сменил ноту — первую за всё время нашего спуска. Он нас услышал.

И начал прибавлять голос.

Глава 5

Перед спуском, у самого входа, Катя передала Титу сухую капсулу с ключом. Он сверил наш контактный отпечаток на упаковке, убрал трофей в отдельный карман инструментария и защёлкнул клапан.

Катя придержала раскрытый чехол локтем и вынула из другой ячейки закрытый футляр.

— Низкий D. Инга передала мне под расписку, пломба целая. Торговый резерв, — она повернула бирку к Титу. — С ключом не смешивай.

Стоял рядом и видел, как футляр перешёл из её руки в его. Тит провёл большим пальцем по пломбе, сверил маркировку и показал мне целый стык крышки. Затем убрал футляр в другой карман инструментария, отдельно от сухой капсулы, и затянул клапан.

— Запас, здесь ключ, — он коснулся двух застёжек по очереди. — Достану по одному.

— Запас закрытым и несём, — кивнул я. — Пока он нам не нужен.

Катя отметила передачу и закрыла чехол. Подписанный запрет, целый блокиратор, исходная команда, кольцо посредника и лист четыре-сто-семнадцать-двадцать три остались в её отдельном хранении за внешним якорем. Ни одним из них сердце мы открывать не собирались.

Ствол вёл вниз, и с каждым метром голос рос.

Не громкость — рост. Внизу пели четыре голоса, и я, человек, двенадцать лет слушавший кладку, трубы и швы, впервые слышал, как поёт камень так, что шевелятся волосы на руках. Четыре ноты — низкая, две средние и одна высокая, тонкая, как проволока, — и высокая была самая страшная, потому что она шла не снизу. Она шла из стен. Из всех стен сразу.

— Стоп. — Перегородил ступень короткой пикой, и десятка встала. Тит сзади придержал провод, чтобы остановившиеся не наступили на петлю.

Мы стояли на четвёртом колене ствола — я посчитал по памяти, Тит по механическому счётчику, Рита по своей книжке, и все три счёта сошлись, что бывает не всегда даже у нас. Свет изнизу был ровный, тёплый, почти домашний, и от этого хотелось идти быстрее. Именно от этого и хотелось. Двенадцать лет научили: когда место зовёт — считай, кто зовёт.

— Слушайте все, — говорил я тихо, повернувшись лицом к Аде, чтобы она читала, и голосом — к остальным. — Внизу — не механизм. Голоса. Четыре. Они не кричат — они поют, и пение это работа: оно тянет. Вы чувствуете тягу?

Чувствовали. Тони поймал себя на том, что шагает вниз в ритме высокой ноты, и с усилием вернул ногу на прежнюю ступень. Стас сглотнул дважды. У Василисы пальцы постукивали по бедру в такт, и она убрала ладонь, как убирают с

горячего.

— Ада. Стена. — Дождался её взгляда и указал на кладку возле трубы.

Ада уже стояла ладонью на кладке. Она закрыла глаза, постояла — и стукнула по трубе один раз. Стоп. Потом показала мне четыре пальца и сжала-разжала их: пульсация. Четыре источника, и они дышали не вместе — по очереди, передавая друг другу фразу, как передают ведро по цепочке.

— Они поют по кругу, — сказал я. — Один ведёт, трое подхватывают. И когда ведущий выдыхается — его сменяет следующий. Запомните это слово: сменяет. Оно сегодня будет главным.

Первое колено зала открылось внезапно — ствол просто кончился, и мы встали на пороге круглой камеры, шириной с манеж, и увидели их.

Четверо. Они не прятались. Они стояли в четырёх точках по кругу — не люди и не машины: рост человеческий, тела из тёмного гладкого вещества, и на месте лиц — горла. Просто горла, раскрытые, работающие, живые, без всего остального, что есть у лиц. Четыре горла, четыре ноты, и камера дышала их пением, как дышит кузня горном.

И они нас увидели. Не глазами — некстати было — а иначе: я почувствовал, как по моему телу прошла тонкая, отвратная волна ощупывания, как будто меня прослушали, как прослушивают чемодан на вокзале.

— Не двигаться. — Уперев пятку в стык плит, остановил

начатый шаг. — Стоим. Думаем.

Верхний — тот, что стоял на уступе у свода, на стороне, где высокая нота рождалась из стены, — запел громче. И тут случилось то, из-за чего я потом назову этот день днём, когда я впервые испугался не за тело, а за счёт.

Пение качнулось — и на полтора удара сердца камера показала мне нас самих. Не отражение. Нас через три секунды: я видел, как Тони делает шаг влево, как Стас поднимает руку, как я сам поворачиваюсь, — а потом три секунды прошли, и Тони шагнул влево, и Стас поднял руку, и я повернулся. Точно. Кадр в кадр.

— Так, — сказал я, и голос мой сел на полтона. — Они показывают друг другу наше будущее. Три секунды. Четыре сторожа, каждый видит на три секунды вперёд, и все четверо видят, что видят остальные. Значит, любой мой удар они узнают за три секунды до удара — от трёх свидетелей сразу.

— Тогда как драться? — Лёва переставил опору под здоровую ногу, примеряясь к полу. Спросил спокойно, по-хозяйски, и я люблю его за этот голос: когда Лёва спрашивает «как драться», значит, драться будем, вопрос только в технологии.

— Пока — никак, — сказал я. — Сначала разберем их на роли. Всё в мире — работа, и у каждой работы есть выход и вход. Тагир, что с проводом?

— Провод цел, — Тагир поднял свободную петлю и пропустил её мимо Стасовой пятки. — Связь с Катей — по рас-

писанию через десять минут. Внутри камеры сигнал скачет — канал идёт с задержкой, но идёт.

— Хорошо. Ада — стена. Ты будешь читать их пение полом и кладкой. Если я прав и они поют по кругу, значит, у них есть смена. Смена — это пауза. Пауза — это окно. Рита — счёт людей, постоянно, вполголоса. Тит — зажимы наготове, механический счётчик мне в ладонь.

Тит поднёс циферблат к моей левой, занятой короткой пикой. Сверил ход и оставил прибор у него: пусть держит передо мной, пальцами за древко я ещё послужу.

— Все остальные — кольцо, спинами к центру, лицом наружу: камера одна, но я двенадцать лет не верю комнатам с одним выходом.

Они перестроились — тихо, слаженно, десятка, которая за одну ночь научилась перестраиваться на моё «все». И я остался в центре, лицом к четырём горлам, с короткой пикой Тита в левой и памятью, которая не списывается.

Дальше было двадцать минут самой унижительной разведки в моей жизни — и самой полезной.

Пока показывал. Делал движение — короткий шаг, замах корпусом, ложный перенос веса — и смотрел, кто из четырёх реагирует и как. Верхний, у свода, отвечал первым: его нота вспыхивала раньше всех, он и был глаза. Правый нижний — он брал моё движение и сразу оглядывался на левого нижнего: они работали в паре, как связка, и их ноты переплетались. А четвёртый, дальний, у выхода из камеры в глу-

бину, — четвёртый молчал дольше всех и пел тише всех, и я понял его роль последним и понял холодом: он не смотрел на меня. Он смотрел на моих.

— Слушайте меня внимательно, — сказал я, не повышая голоса, потому что пение сверху начало прибавлять, будто оно чуяло, что его разбирают. — Роли. Верхний — глаза, он читает движение первым и раздаёт остальным. Правый и левый нижние — руки, они работают в паре, их огонь пойдёт перекрёстно. А четвёртый, у прохода, — он солист. Он не бьёт. Он поёт. И поёт он не мне — он поёт вам. Панику. Он вслушивается в группу, находит самый дрожащий голос и начинает ему подтягивать. И когда группа дрогнет вместе — они ударят все четверо сразу, в согласованную секунду, которую мы сами им подарим.

— То есть они бьют не по нам, — медленно сказал Тагир. — Они бьют по нашему согласию испугаться.

— Они бьют по нашему согласию, — сказал я. — Запомнили. Это не бой мускулами. Это бой против хора, и хор этот — мы сами, если позволим себе спеться не на свою музыку.

И тут верхний — глаза — запел резче, и камера снова качнулась: три секунды будущего легли на пол, как простыня. Я видел: Тони падает, у Василисы из плеча рвется рукав, Лёва охает и садится, Рита роняет книжку, и удар идёт — не пикой, не огнём, а звуком, плотным, как ударная волна от взорванной трубы, и идёт он в правый нижний угол кольца, туда, где стоят Тони, Лёва, Рита.

Три секунды. У меня было три секунды, и я знал заранее — как знают они.

— Тони! Лёва! Рита! ПОЛ! ЛОЖИТЬСЯ!

Они легли. Не потому что поверили в мой дар — потому что за ночь научились верить в мой счёт. Звук пришёл туда, где секунду назад стояли их груди, прошёл над спинами, своротил с кладки пласт камня размером с подушку — и умер.

А дальше я сделал свой ход. Не красный, не героический — плотницкий, как вся моя жизнь.

— Тит! Механическую створку! Из ремонтного комплекта — на колено распорки! — Верхнее горло пело из стены, из точки над уступом, и точка эта была видна, и в трёх шагах от неё в кладку была вмурована старая сервисная скоба с планшетой — мёртвый остаток времён, когда эту камеру обслуживали люди. Я бросил короткую пику вверх — не в горло, пикой в горло я не достал бы, — в скобу. Скоба вырвалась, планшета отвисла на одном болту. — Тит! Камень в распорку! Экранируй точку!

Тит понял раньше, чем я договорил. Клин уже торчал у него между пальцами, пока я ещё показывал скобу. Тремя движениями он вбил клин под отвисшую створку, и металлическая пластина встала между верхним горлом и залом — косо, криво, на честном болте и честной злости.

Высокая нота из стены срезалась. Верхний хранитель запел — и услышал сам себя, запертого в железной коробке. Три секунды будущего больше не ложились на пол. Глаза хо-

ра ослепли на одно горло.

— Вот так, — сказал я, и рёбра ныли, и левая ныла, а голос был мой. — Без глаз будущих — вы просто четыре громких рта.

Хор понял это тоже — за один круг, этот понимал быстро, все они в этом контуре понимали быстро. И хор сменил солиста.

Это было видно телом: верхний обмяк на уступе, его нота ушла в шёпот, а дальний — тот, четвёртый, у прохода, который пел для моих, — вдруг поднял горло, и оно раскрылось во всю ширь, и он запел так, что у Стаса подогнулись колени, а у Акима дёрнулась рука к тросу без всякой команды.

— Не слушать! — гаркнул я. — Ада! Ритм! Дай ритм пола!

Дождался, пока Ада посмотрела на меня, и показал двумя пальцами парный ритм, который мы условились держать на спуске. Она прижала ладонь к трубе, затем начала стучать. Условный счёт, заранее проверенный всеми, — здесь он был надёжнее моего крика. Её кулак стучал по трубе простым, тупым, честным ритмом — раз-раз, раз-раз, — тем самым, каким в старых завалах я выводил людей под акустические приманки: ритм, который тело хватает раньше уха, ритм, который громче паники, потому что он проще. Десятка дышала по Адиному стуку. Я дышал по Адиному стуку. Пение дальнего текло поверх, искало трещину в каждом, находило — Стас держался, Рита считала вполголоса, Тони лежал на

полу и шевелил губами в такт — и не находило.

— Слышишь? — сказал я хору — честно, вслух, потому что за два дня имею право разговаривать с тем, что ждёт. — Ты поёшь страх. А она стучит счёт. Счёт всегда громче. Счёт — это работа, а страх — это погода. Работа переждёт погоду.

Хор не ответил. Хор сделал хуже — он начал договариваться между собой. Под подошвами дрожь участилась. Ада подняла три пальца, свела их вместе; следом сошлись и ноты: три оставшихся горла пошли к сближению, их ноты тянулись друг к другу, подстраивались, и пол под ногами начал гудеть — мелко, нутряно, знакомо, как гудела стена под переходом в первую ночь. Они готовили общий удар. Не по будущему — по настоящему. Согласованный, все три, в одну точку.

— Кольцо — к стенам! Аким — трос за скобу! Все — за мной, шаг влево, по счёту Ады: три, два...

И на «раз» мы все — все десятеро, слитно, как на параде, которым ни разу не были, — сделали один общий шаг влево. Ничего больше. Шаг.

Хор ударил туда, где мы стояли секунду назад, — в пустое место, в согласовании трёх голосов, которое мы только что сорвали одним скучным, армейским, счётным шагом.

Удар трёх горл разошёлся по пустому центру камеры, свился сам в себя, и камера на миг замолчала — впервые с нашего спуска.

— Вот, — сказал я, дыша по-воробьиному, с короткой пикой, которую Тит выдернул из освобождённой скобы и вер-

нул мне рукоятью вперёд, и с чувством, которое двенадцать лет назад звалось просто «рабочий день». — Вы согласились — и промахнулись. Согласование — обоюдоострая штука. Вы об этом ещё узнаете.

Дальнейшие полчаса мы прогрызали — честно говоря, без красоты. Хор пробовал всё: менял солиста после каждого нашего точного попадания (Василиса успела ударом плеча сбить одного из нижних, когда тот вышел из строя на смене, — и солистом тут же стал другой, и пришлось заново разбирать, кто теперь глаза, кто руки), сбивал Адин стук встречной дрожью пола, дважды показывал страшное будущее — один раз правдивое, один раз враньё, и второе было опаснее первого, потому что после вранья верить правде труднее.

Но слышимая тяга — материнское, сонное «идите сюда», с которого всё началось у ствола, — к исходу этого получаса приглушилась. Мы не победили. Мы даже не ранили хор всерьёз. Но мы сняли с него главное: его голос больше не был командой. Мы научились не слушать приказ, поданный музыкой.

— Привал здесь, — сказал я, когда пение внизу сменилось на сдержанный, рабочий, злой гул. — У входа в камеру, спинами к стволу. Пятнадцать минут. Тони — бровь, Василиса — предплечье; повязки на обоих, остаток медпакета сейчас сверим, и не смотрите на меня так: местные повреждения — бинт, лёд и пауза, полное исцеление будет в сказке. Рита — счёт. Тагир — Катин сеанс, что там по её часам?

Тагир прижал трубку, посчитал, поднял голову:

— Внешний сеанс был ровно, задержка в пределах. Катя передаёт: наружное время идёт отдельно от нашего, Женины замеры каждые тридцать минут, опоры стоят. Спрашивает: живы?

— Передай цифру, — сказал я. — Десять из десяти. Живые. Счёт людей не менялся.

Сел у прохода, положил короткую пику Тита на колени — туда, откуда беру её одной левой, — и вытянул длинную, Тихонову, из ремня, чтобы дать спине хотя бы перемену позы. Две пики, обе различимые, обе свои. Правая висела петлёй. Рёбра пели свою ноту, нижнюю.

Сдвинув обе пики на коленях, освободил левую и опустил ладонь на пол. Высокие ноты стихли. От камня холодило пальцы, и через этот холод пробивался толчок, который стоя я принимал за дрожь в собственных ногах.

Пол гудел. Не от ближнего хора — ближний хор гудел гулко, зло, локально, я его уже знал в лицо. Это была другая вибрация. Дальняя. Глубокая. Медленная. Она шла из-за прохода, из глубины, куда вёл четвёртый ход камеры, — ровная, спокойная, огромная, как дыхание спящего великана, и в ней не было ни злобы, ни голода.

Ада ткнула пальцем в пол, затем показала на четыре горла. Дождалась моего лица и сказала вслух:

— Здесь. Они идут под полом.

Наклонился к кромке плиты, не убирая ладони. На каж-

дом низком толчке в дальней стене приоткрывался шов — и один из четырёх хранителей поворачивал горло ровно в этот момент. Отдельный звук я уже пережал створкой. А их общий счёт проходил под нами, через пол. Они оставили себе канал, который ладонь чувствовала даже тогда, когда ухо отдыхало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.